

Марк Харитонов

# День в феврале

Повести

Москва  
Советский писатель  
1988

Х у д о ж н и к и  
Василий Валериус  
Марат Ким

Харитонов М. С.

Х 20      День в феврале: Повести.— М.: Советский пи-  
сатель, 1988.— 512 с.

ISBN 5—265—00082—8

«День февраля» — первая книга М. Харитонova. Повести, вошедшие в нее, потребо-  
вали десяти лет творческого труда.

В повести «День в феврале» рассказывается о Н. В. Гоголе. Об эпохе царствова-  
ния Ивана Грозного — в повести «Два Ивана». Повесть «Проход Меншутин» —  
о быте современной провинции.

4702010201—422

Х ————— 146—88

083(02)—88

ББК 84 Р 7

---

# Этюд о масках

М

ЭТЮД О МАСКАХ

*Жена философа*



**ФИЛОСОФ**

МАСОЧНИК

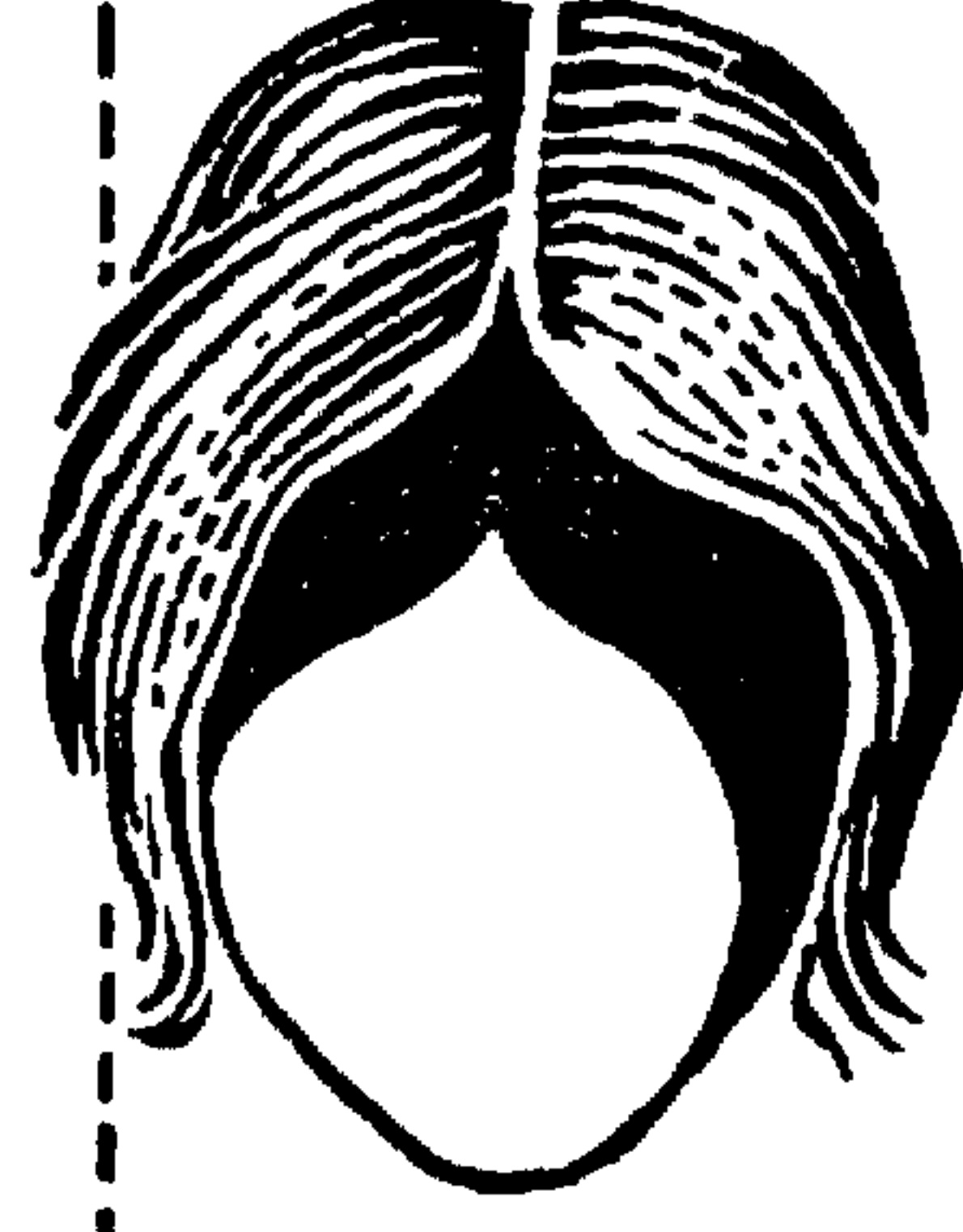
**ХУДОЖНИК  
АКТРИСА**



**СКВОРЦОВ**



**НИНА**



**БАРОНЕССА**

# Часть первая

## 1

*Происхождение слова «маска» объясняется исследователями по-разному. Некоторые возводят его, например, к арабскому «маскара» (чернить, грязнить) и связывают с первоначальным, примитивнейшим способом скрывать свое лицо путем нанесения на него сажи или иной черной краски. (Так, мексиканские жрецы на больших празднествах с человеческими жертвоприношениями в честь бога Тлалоха обмазывали себе лицо медом и посыпали затем черным порошком.) Существуют и другие, не менее справедливые концепции; автор в данном введении их, однако, не рассматривает ради экономии места.*

*Важнейшим назначением разнообразных масок: ритуально-магических, военных, погребальных и пр.— была защита от опасных демонов; маска должна была обмануть их и по возможности напугать. Каких только не придумано ухищрений, наивных раскрасок, устрашающих морд, двойных и тройных личин — чего угодно, лишь бы сбить с панталыку духов, людей и судьбу! Иногда маска претендует на сходство с тем, кого она должна скрывать, более того, на выражение его подлинной, сокровенной сути; таковы были некоторые погребальные маски. Со временем сакральный смысл выветривается, но отзвук чего-то близкого можно и сейчас уловить в обычае снимать посмертные маски со знаменитостей. Опустевшая скорлупка остается в веках вместо живого лица и чем дальше, тем больше обретает самоценность. Живое истлеет и забудется, маска бессмертна и с годами все убежденнее почитается как олицетворение, а то и вместилище исчезнувшей жизни, знак личности и судьбы.*

Глеб Скворцов попал в Москву одиннадцатилетним пацаном — после того, как умерла его мать, а отец, незадачливый председатель нищего послевоенного колхоза, угодил на пять лет в тюрьму за утрату не то денег, не то бумаг (подробней взрослые мальчику не объяснили, да, возможно, не знали сами). Незадолго до кончины мать успела списаться со своим московским братом, легендарным в семье дядей Гришей-горбатым, человеком сказочной профессии: фотографом на Зацепском рынке. Из своего захо-лустного Сареева, не выдавши до того не только трамвая — поезда, Глеб сразу попал в самое нутро муравейного города, суматошное, тесное; не то что у деревенщины — у коренного жителя гул мог пойти в голове. Скворцов, однако, вошел в новую жизнь на удивление сноровисто — как будто по природе был создан для этого потного воздуха с запахом картофельной кожуры и разогретой простокваши, как будто, не помня, жил уже когда-то этой жизнью, а теперь лишь припоминал забытое. Он ничуть не терялся в рыночной толчее, не дурел от криков и трамвайного грохота, правила движения, многоэтажный быт и обращение с самыми разными людьми осваивал на ходу, проявляя незаурядную быстроту и точность реакции. В нем обнаружилось какое-то врожденное свойство переимчивости, отклика на любое человеческое качество: с расторопными он оказывался расторопен, с жуликами словно по наитию становился жуликоват, в разговоре с картавым чуть-чуть картавил — незаметно ни для себя, ни для собеседника, с той ненамеренной естественностью, с какой меняют окраску под цвет среды некоторые виды живых существ, отражая его голос и повадку.

Это благодатное свойство, которому Скворцов был обязан многим в своей будущей жизни, ясно проявилось уже первого сентября, когда он — два дня как с поезда — явился в свою школу: четырехэтажную, каменную, с полуразобранном бомбоубежищем посреди двора, где выстроилась торжественная линейка. Глеб догадался притопать сюда босиком, да еще в дядиных коротышечных галифе, делавших его похожим на карикатурную муху со сложенными крылышками и маленькой светлой головкой. Шустрые московские пацаны сразу принялись над ним ржать, и быть бы Скворцову изгоем, если б инстинкт не нашептал ему подсказки: он заржал вместе со всеми и, подхватив

крылышки своих галифе, как юбочку, стал изображать балерину — к общему веселью, теперь уже доброжелательному и сочувственному. Так что на следующее утро он еще разок пришел босым, поломав небольшую комедию перед учительницей, и лишь после этого обул наконец приготовленные дядей башмаки и сменил штаны.

Так Глеб Скворцов впервые уловил существенную для себя истину: надо оправдывать ожидания ближних, а не топорщиться наперекор им, — и надолго приобрел амплуа.

Босоногая же его интермедия, кстати, принесла еще и неожиданные плоды: на Скворцова обратили внимание, и через месяц родительский комитет, распределяя свои благодеяния, выделил Глебу отличные черные, на толстых рантах, ботинки, хотя, по правде сказать, он вовсе не был нуждающимся. Отнюдь. Дядя Гриша способен был обеспечить десяток таких, как он.

Главный фотограф Зацепского рынка был широкоплечий темпераментный горбун, ростом пониже одиннадцатилетнего Глеба, с лицом, словно бы состряпанным из сырого белого теста, с невидимыми бровями и ресницами, с одуванчиковым пушком на черепе и воспаленными глазками альбиноса. Большую часть дня он проводил в проявочной комнате, где красное око фонаря отражалось в бездонных фотографических кюветах, а своды и углы терялись в пещерной черноте. Дядя Гриша тут и обедал, и отдыхал, и даже читал газеты. В сумеречное помещение, где стоял аппарат, он выходил, почти выбегал, болезненно щурясь, ловко усаживал клиента, сам для себя провозглашал: «Да будет свет!» — и, включив батарею ламп за марлевыми занавесками, попрыгунчиком взлетал на ящик-подставку, чтобы спрятать голову под черное покрывало. Яркий свет не только резал ему глаза, но заставлял краснеть отменной светочувствительности кожу; даже зимнее солнце в считанные минуты подрумянивало болезненным загаром его непропеченные щеки — почти до ожога. На улицу он старался выходить лишь в сумерках, надевал очки с темно-красными стеклами и широкополую шляпу, в камерке же, где поселил и Глеба, разве что ночевал. Племянник очень кстати пришелся ему на посылках и для другой помощи; можно думать, не из одного родственного бескорыстия вызвался его принять фотограф.

Ателье дяди Гриши, вжатое в рыночный забор и сросшееся за его пределами с колонией таких же сарайчиков, пользовалось особой славой у самой разной клиентуры: и у колхозников из-под Каширы, приезжавших в Москву через Павелецкий вокзал, и у ташкентских спекулянтов, торговавших фруктами на Зацепском рынке, и у коренной московской интеллигенции. Этот предприимчивый гном с подпрыгивающей походкой обладал уникальной коллекцией полотен с прорезями — знаменитых фотографических декораций, памятных, наверно, каждому, кто бывал в послевоенных фотозаведениях. Просунув в прорезь голову, здесь можно было запечатлеть себя не просто верхом на коне среди заурядных Кавказских гор, но и в Африке под пальмами, за границей на фоне Эйфелевой или Пизанской башни и даже на фоне Кремля, где фотографировать в ту пору, как известно, не дозволялось. Главным же было качество полотен: одноцветные и на первый взгляд как бы небрежные, они на окончательном снимке создавали впечатление достоверного присутствия. Глеб не раз видел их автора: невзрачного русачка с оттопыренными ушами и большим, расплывчатым очертанием рта; Скворцову запали в память его очки с занятой оптикой: при любом повороте головы глаза оставались как бы нарисованными на стеклах. Он проносил под мышкой рулон холста в дядину пещеру и выходил назад уже налегке. Для особо доверенной клиентуры декорации писались по заказу и даже по мерке за специальную плату. Наиболее популярным в те годы, особенно среди рыночных торговцев, был сюжет с комплектом орденов и медалей, в военной форме на фоне тяжелого танка или самолетного пропеллера. Впрочем, однажды изготовленное, такое полотно тоже могло продаваться по многу раз. Были заказы и поредкостнее: однажды, например, дядя Гриша показал Глебу настоящего писателя и шепнул на ухо фамилию, которую тот слышал при всем своем тогдашнем невежестве. Писатель, как оказалось, доверительно попросил фотографию на коне в островерхом шлеме времен гражданской войны, в гимнастерке с «разговорами» и с обнаженной шашкой в руке. У знаменитости было вполне сохранившееся детское личико с пухлыми губами, так что оказалось делом сравнительно нетрудным подгримировать его лихими черными усиками, помягче отрегулировать освещение, а потом отретушировать (на что дядя был мастак) и слегка поджелтнить намеренно тусклый отпечаток. Через несколько лет Глеб сам



видел этот редкий, никогда прежде не публиковавшийся документ в газете вместе с воспоминаниями очевидца о его истории.

Он, кстати, поинтересовался тогда у дяди, почему было художнику сразу не пририсовать на своей картине и лицо. Горбун хохотнул восторженно, оскалив полный набор желтых ядерных зубов, — казалось, вопрос доставил ему удовольствие.

— А не может вот почему, — пояснил он. — Не получается у него — писать лица. Жанр не его. Потому и работаем на пару. Лица мои, остальное его... хе-хе-хе! — неизвестно чему все веселился он. — Если б он еще и это умел — ух, какие дела можно было бы творить! Страшно выговорить! Мне же золотые горы предлагали... — золотые горы! — чтобы сняться, — он понизил голос, — кое с кем... да... А с артисткой Ладыниной сколько просили? Ой! — он даже зажмурил воспаленные глазки. — Но не дал бог. Не дал. Бог не любит давать все одному. Ревнует. Он, как я понимаю, тоже творил мир на пару. Кое с кем, — тут дядя совсем развеселился и даже закашлялся от скрипучести собственного хихиканья; несмотря на сыроватую наружность, он был темпераменту сангвинического, что, согласно Гиппократу, указывало на преобладание крови среди телесных жидкостей; впрочем, и желчи в нем было предостаточно.

Одним из самых ходовых сюжетов была свадебная фотография: черный парадный костюм при галстуке и белое подвенечное платье с фатой стояли под руку, держа перед собой букет фарфоровых роз. Вологодские и костромские девчата, привезенные в столицу работать по найму, ребята, уехавшие из родных мест поступать в московские институты, старались убедить кого-то дома, что их личная жизнь складывается удачно, и, вставив голову под пиджачными плечами или под нарисованную фату, изображали смущенные и трогательные улыбки. Вторую прорезь предназначалось заполнять Глебу; в зависимости от нужды он представлял то жениха, то невесту; его тонкое мальчишеское лицо было пригодно для обеих ролей, и разве что особо привередливая свекровь, оценивая присланный снимок, могла посетовать на худобу московской невестки. Некоторые после свадьбы наведывались к дяде Грише еще разок-другой, чтобы запечатлеть себя в паре с Глебом на лодке

среди нежных водяных лилий, а то и за обильно накрытым столиком на веранде одиннадцатого этажа ресторана «Москва» с видом на Арсенальную башню.

Другие, напротив, заказывали сюжеты пожалостнее, вплоть до инвалидных костылей, — видно, изобретали оправдание за вину, за непосыл каких-то денег: алиментов, долгов или помощи родителям. В предприятии дяди Гриши вообще было немало темного и сомнительного. Иногда Глебу даже не позволяли глядеть на холсты, в персонажи которых он предназначался, ставили сразу позади подрамника; просунув лицо в прорезь, он, как ни скашивал глаза, различал лишь отблеск краски да неясные пятна. Партнерами его бывали потные толстогубые типчики, говорившие с дядей Гришей шепотом, прорези располагались с каким-то неудобным наклоном, и Скворцов в общем-то догадывался о сорте этих сюжетов. Он был достаточно смышлен, чтобы заметить также клиентов, пользовавшихся правом на неограниченное бесплатное обслуживание; участковый милиционер лейтенант Фомкин вряд ли был среди них высшим по чину. Лейтенант снимался много, всегда на велосипеде: в профиль, в фас, с руками на руле или фасонисто скрещенными на груди. Лицо его в прорези озарялось при этом улыбкой искреннего счастья.

— Детская, можно сказать, мечта, — доверительно пояснял он, — разглядывая готовые отпечатки. — Но то все велосипед не было, а теперь после контузии с равновесием не в порядке...

Широкоплечий гном из черной фотографической пещеры понимающе скалился: казалось, у него вызывало восторг все, что бы он ни услышал. Мысль заказчика он улавливал с опережением, сам с энтузиазмом подсказывал детали и ни одно желание не считал абсурдным — даже если перед ним оказывался самый настоящий сумасшедший, выпущенный из больницы на время относительного просветления. Этот взъерошенный человек с остренькой рыжей бородкой и с еврейскими страдальческими глазами пожелал запечатлеть себя подвешенным на кресте в полуголом виде; помимо обычной прорези для головы ему понадобились еще по две для рук и ступней, на которых, по его словам, до сих пор иногда выступала кровь. На беду, дядя Гриша, снимая мерку, ошибся несколькими сантиметрами, и в прорези для ступней доставали только ногти больших пальцев. Клиенту пришлось тянуться, его голова с торчащей бородкой вопреки канону оказалась не опу-

щенной на грудь, а запрокинутой вверх; лицо при этом выражало неподдельное страдание. Полученный снимок он рассматривал с наслаждением и торжеством.

— Надо же, и родинка под мышкой вышла. Ведь это родинка, верно? Теперь я им покажу, — свистел он астматическим шепотом и хохотал с придыханием, напоминая звук патефона со стертой иглой. — Теперь они убедятся. Они меня выставляют сумасшедшим. А? Идеи для них — тьфу, к идеям они уже всерьез не относятся. Ладно, не верите идеям — вот вам документ. Ведь фотография — документ? Документ, как вы считаете?

Дядя Гриша поддакивал, растягивал в улыбке свои непропеченные щечки — так хозяйки оттягивают тесто перед тем, как разделить его ножом, — и незаметно выпроваживал клиента; ему предстоял очередной акт творения; провозгласив с обычным оскалом «Да будет свет», он вспрыгивал на подставку, прятал голову под покрывало, приподнимал с объектива колпачок — из аппарата вылетала птичка, словно покидающая кого-то душа, и исчезала в дядиной пещере, в неопределенной глубины недрах, где душно пахло фотографической алхимией и негасимо пылал фонарь; при красном, безопасном для кожи свете его горбун изготавливал отретушированные судьбы, сочиненные жизни, небывалые биографии — и, увидев, что это хорошо, пускал гулять по свету.

Впрочем, доброкачественностью своих творений мастер вовсе не обольщался. Напротив, он знал о них такое, чего никто бы и не заподозрил. У него была странная причуда. Прежде чем пустить в ход любой из холстов, он оставлял на нем незаметный изъян: бритвенный надрез как раз на коленке свадебных брюк, затем тщательно заштопанный, прокол на шине шикарного «мерседеса» с запасным колесом у радиатора, мушиные точки, специально перенесенные на торт в ресторане «Москва», микроскопическими буквами выведенное неприличное слово на башне. На снимке все это не было заметно, но дяде доставляло ехидное удовольствие знать скрытую от других тайну, равнозначную для него подоплеке, секрету самой жизни. Привыкший обитать в сердцевине хитроумного базарного торгова, он видел мир нашпигованным подвохами и каверзами. У него была целая коллекция рыночных обманок: запаянных консервных банок, на поверку заполненных землей,

запечатанных водочных бутылок, содержащих самую обычную воду, даже раскрашенных витринных муляжей: помидоров, яблок, бараньих ног, внутри гипса которых каким-то духовным родственником дяди Гриши была ехидно вмурована гнильца. Он показывал Глебу торговца рыбой, который, получая от поставщиков пескарей по восемь рублей кило и щук по двенадцать, держал всех в одном садке, так что в продажу у него шли исключительно щуки, при своем повышенном весе бывшие щуками скорей по наружности, на разрез же открывавшие вполне пескариное нутро. Горбун был задушевно убежден, что все в мире содержит скрытую каверзу; и если не находил ее сразу, считал, что его лишь очень хитро обошли. Улыбчивый перед посетителями, душой он был собран и подозрителен — как первобытный дикарь, всегда настороже перед опасностью подвоха, как будто это могло стоить ему жизни, как будто был суеверно убежден, что даже умрет не иначе как от чьей-то злой шутки, — и в болезни, которая через несколько лет свела его в могилу, увидел, кажется, лишь подтверждение своей правоты.

Как-то один из клиентов, снявшись в свое время с Глебом на свадьбе, а затем испытавший и вариант с лодкой, и с рестораном, потребовал вдруг фотографию с женой и ребенком. Как ни странно, у дяди Гриши не оказалось холста на три прорези; почему-то желания заиметь ребенка до сих пор никто не изъявлял. Получив заказанное полотно, дядя Гриша задумался: кто же заполнит третью дыру? Никого со стороны он привлечь не хотел: оставалось использовать аппарат с приспособлением для самоъемки и, жертвенно подставив лицо под жгучий свет, самому изобразить ребенка. На снимке малыш получился зубастым, сощуренным и не таким уж страховидным, даже немного похожим на отца.

Примерно через месяц после этого случая дядя Гриша почувствовал першение в горле, затем царапанье и, наконец, довольно чувствительную боль при глотании. Однажды, вернувшись из школы, Глеб увидел необычную картину: в ателье при полном свете ламп, с лицом, красным чуть не до волдырей, дядя внимательно изучал натянутый на подрамник холст с туловищами счастливого семейства. Он поманил племянника пальцем.

— Глянь на просвет, вот тут, где горло у пацана. Видишь? Вроде бы булавоочный прокол, а?

— Вроде бы, — пожал плечами Глеб. — Материал жидкий.

— Материал. Может, и материал, — попробовал хмыкнуть дядя, но жестоко закашлялся. — Ах, дьявол, — прохрипел он, отирая рукавом слезы, — подловил, однако. А я-то... — и зашелся опять в мучительном, изводящем душу кашле.

Глеб тогда, конечно, встревожился, но странного беспокойства из-за булавочного прокола понять не мог; и лишь совсем недавно, вспоминая те времена, по-новому ощутил фантастичность этого человека, которому сама жизнь от зачатия до смерти представлялась коренным и изначальным подвохом.

Околачиваясь днями в дядином ателье (даже уроки он ухитрялся готовить здесь же, в закутке, и лишь цепкая память да природный ум позволяли ему сносно учиться), Глеб Скворцов, как ни смешно, так и не удосужился овладеть нехитрым умением фотографировать. Черт его знает отчего; может, из-за внутреннего недоверия к этому ремеслу и его результатам. Разглядывая впоследствии чьи-то семейные альбомы, он не мог отделаться от ощущения, что вся эта документация жизни — производство ехидного горбуна, Кавказ — декорация лопухого художника, да вдобавок ко всему в этом может таиться какой-то скрытый изъян. Узнав, что некая британская принцесса наперекор семье вышла замуж за придворного фотографа, он, еще мальчишка, без дополнительных данных понял, что эта империя долго не протянет.

Однажды, правда, Глеб чуть было не пожалел о своем невежестве: когда в отсутствие дяди сторожил ателье и к нему заявился знакомый восьмиклассник Яша Булочко, держа в руке перед собой, как цветок, пятирублевую бумажку. Рохля и интеллигент, будущий скрипач, которого только фамилия избавляла от обидных прозвищ, он жаждал наглядно удостоверить для паспорта свое совершеннолетие. Можно ли было обмануть его ожидания? Глебу это было чуждо по природе. Он вынул из пальцев у Булочки пятерку, просившуюся в руки, и хозяйским жестом указал на стул.

— Ты, что ли, будешь снимать? — уточнил Булочко.

— А что? — ответил Скворцов и включил всю жаркую ослепительную батарею за марлевой занавеской. — Да будет свет!

Что-что, а внешние ухватки он умел воспроизвести артистично: отодвинул ящик-подставку, излишний при его росте, вдвинул в аппарат пустую рамку вместо кассеты, подправил подбородок напряженному Булочке, спрятал голову под факирское покрывало и совершил изящную манипуляцию колпачком.

— Готово,— сказал он.— Снимки могу завтра сам занести в школу.

На что полагался Скворцов, изымая из музыкальных пальцев Булочки пятерку? На одно только наглое вдохновение. Но едва Яша ушел, он уже знал, что делать дальше. В закуте, где Глеб готовил уроки, стоял большой фанерный короб; с незапамятных времен в него сбрасывались пробные, ненужные и бракованные отпечатки, а также и случайные, и чужие фотографии. Глеб иногда рылся в нем, перебирал самые верхние бумажки, но до глубин, до недр никогда не доходил — терпения не хватало; казалось, там за много лет спрессовалось их бессчетное количество. Сейчас он бросился разгребать плотные слои. Ему не пришлось зарываться глубоко: уже близко от поверхности он нашел то, что искал. Паренек, изображенный на тусклом, паспортного формата, отпечатке, был весьма похож на Булочку: если долго всматриваться, можно было совершенно в это поверить, так что на другой день Скворцов с достаточной долей искренности вручил клиенту его портрет, не упустив пригласить к оценке своей работы общественность. Общественность работу одобрила, и Яша, в общем, тоже; смущало его единственное: на снимке рубашка у него была не серая, с расстегнутым воротом, а белая, с галстуком. Но общественность сочла, что так гораздо красивее, и товарищескими тычками убедила скрипача отказаться от своей интеллигентской привередливости.

Так Глеб Скворцов честно заработал пятерку и усвоил еще одну существенную для себя истину о том, что при бесконечном множестве людей и их лиц всегда можно найти дубликат. Иначе говоря: после многих столетий цивилизованного человеческого существования куда ни ткни — попадешь во что-то уже бывшее. А если оно и покажется тебе незнакомым, то скорей всего потому, что ты мало знаешь; покопайся глубже — найдешь. Глеб наткнулся на эту закономерность нечаянно и подтверждал ее справедливость не раз. Например, механически рисуя рожи-

цы — просто так, как велся карандаш: профиль с длинным или, напротив, коротким носом, фас с усиками или без, круглый или тонкий, — он после первых штрихов то и дело замечал, что выходит на кого-то похоже: то на Гитлера, то на артиста Андреева, то на учителя математики Антона Львовича. Имея некоторые способности к рисованию, последние штрихи он выводил уже целенаправленно. А если даже получалось вроде бы ни на кого не похоже, Глеб иногда откладывал рисунок про запас — в надежде, что через некоторое время наверняка объявится оригинал: на улице, на рынке или на экране кино.

Позднее, в пору своих литературных опытов, он часто не без смущения замечал, что с первых строк и проза его нечаянно получалась похожей то на Льва Толстого, то на Хемингуэя, то на Зощенко. Первой его догадкой было то же: что все возможное уже написано и все мыслимые стили испробованы. Но тут дело объяснялось, конечно, иным: все той же природной, неумышленной его переимчивостью, которая заставляла его без вина пьянеть среди пьяных, помогала воспроизводить чужие голоса и со школьных лет обеспечивала ему общую благосклонность.

Бандитский 5 «Д» оценил его талант в первый же год, когда он к общей потехе измывался над историчкой Антониной Михайловной, классной руководительницей. Она не пришлась им ко двору просто потому, что была не похожа на учительницу Мавру Денисовну, которая вела их первые четыре года и несравненные достоинства которой старожилы объясняли Скворцову захлеб.

— Мавра нас, чуть что, линейкой хрясь по пальцам — у-у-у! — воем и мотанием кисти изображал, как это было, Саня Кононов, по прозвищу Коныга.

— И по кумполу! — восторженно дополнял Васек Хренкин.

— За ухо — и в угол — тэ-эк! — демонстрировал — сам себя за ухо — Коныга. — А эта: мальчики, я прошу вас!..

Она была с ними, с пацанами, на «вы» — могло ли это спустить ей мальчишеское школьное хамство воспитанное линейкой по кумполу? Скворцов не был связан с их воспоминаниями и не мог, как они, восхищаться легендарной линейкой, но интеллигентское «вы», конечно, его забавляло.

Отчаянно близорукая, Антонина Михайловна различала учеников больше по голосам да по смутным очертаниям; в первые недели Коняга или Хренкин могли попросту исчезать из класса, доверяя Скворцову откликаться за них. Он пересаживался с парты на парту, подавал голоса вместо тех, кого объявляли отсутствующим, заставляя учительницу для проверки подходить к себе вплотную, запутывая и смущая ее вконец, — при общем веселье, которое быстро перерастало в вакханалию с воем и кваканьем, с плясками на партах, с летающими чернильницами и взрывами пистонов, — пока, утомясь, все немного стихало и Антонина Михайловна могла начать новое объяснение. Ах, как она рассказывала! Скворцов отродясь не слышал такого в своем Сарееве, где четыре класса занимались в одной комнате. Восторженная, тонкая, с пятнами кирпичного румянца на щеках, она теперь и вовсе ничего не видела; весь класс мог залезть под парты и резаться там в дурака или делать друг другу наколки — «на атасе» оставался один Глеб Скворцов, и он слушал ее упоенно, отгороженный крышками парт от флюидов чужого хамства, доступный сейчас лишь обаянию учительницы, преданный ей, влюбленный в нее, — но лишь на время, до следующего урока, когда неудержимое вдохновение вновь подзуживало его делать то, чего никто от него вроде и не требовал; он не был ни заводилой, ни подпевалой — но как-то помимо собственной воли улавливал заказ класса и автоматически, с опережением выполнял его.

Помнит ли кто-нибудь школьную забаву тех лет:

Драки-драки-дракачи,  
Налетели палачи.  
Кто на драку не пойдет,  
Тому хуже попадет.  
Выбирай из трех одно:  
Дуб, орех или пшено?

Эти ритмические двустипшия отбарабанивались на спине зазевавшейся жертвы, которая должна была экспромтом найти простенькое решение — простенькое потому, что все, кроме совсем уж желторотых новичков, знали варианты. Выбрать «дуб» — значило услышать рифму: «Бей в зуб!» — с соответствующей иллюстрацией; таких дураков не находилось. В ответ на «пшено» следовала совсем уж нехитрая рифма: «но, но, но» — с долгими ко-



лотушками, главным образом по спине. И была лишь одна возможность избавиться от побоев: сказать «орех». «На кого грех?» — спрашивали палачи-рифмачи, и надо было указать на новую жертву и самому принять участие в новой экзекуции: «Кто на драку не пойдет, тому хуже попадет». Очень содержательные стихи; Скворцов впоследствии собирался проанализировать их по всем правилам текстологии и доказать авторство одного значительного современного поэта, умевшего улавливать дух времени; впрочем, не менее заманчиво было бы доказать и старинное, может быть, даже переводное происхождение стихов — со времен средневековья, а то и Древнего Египта, подтвердив их глубокую ритуальную подоплеку.

Беда учительницы была в том, что она не хотела никому жаловаться и никого звать в помощь; на каждый следующий урок приходила доброжелательная, как ни в чем не бывало — будто искренне надеялась пронять в конце концов их холопские души своей открытостью и уважительным благородством. Увы, зимой Антонина Михайловна заболела и в школу больше не вернулась. Уже перед Новым годом Скворцов случайно встретил ее на пути к Павелецкому вокзалу; она неуверенно семенила по скользкому тротуару в легкомысленных туфельках на высоком каблуке. Простудный оттепельный ветер толкал ее в спину, гнал, как неумелого конькобежца, и если б не два громоздких чемодана, за которые ухватились с обеих сторон две девочки-погодки, лет восьми и семи, унес бы бог знает куда. Скворцов вызвался ей подсобить. Антонина Михайловна отозвалась на его появление с каким-то даже испугом, она узнала Глеба лишь по голосу, вконец обезоруженная запотевшими очками; долго отнекивалась, потом уступила. Чемоданы оказались неправдоподобно легки, ветер вырывал их вперед, будто надувные; девочки, до сих пор помогавшие их удерживать, теперь вцепились в руки матери — небось и сами такие же простодушно, опасно невесомые. Всю дорогу до вокзала учительница возбужденно расспрашивала Глеба, как у них идет подготовка к новогоднему утреннику, какую они выбрали пьесу для самодеятельности, то и дело предупреждала: «Сегодня так скользко, осторожней, пожалуйста»; казалось, она говорит сама, чтоб не дать вставить слова Глебу. Наконец они вошли в здание вокзала, остановились среди лабиринта желтых эмпээсовских скамеек, среди сидящих, спящих, жующих

людей. Учительница устало отерла пот со лба, запыхавшись вместо Скворцова.

— Вы что, уезжаете? — задал наконец свой вопрос Глеб.

— Приходится, — как бы оправдываясь, объяснила она. — Не потому, что мне не захотелось здесь работать. Мне с вами очень понравилось, хотя я раньше не работала в мужских школах. И ведь уже начала налаживаться дисциплина, правда? Но у меня муж военный, его переводят на юг. Военным куда прикажут...

Глебу неловко было слушать ее самолюбивый, совсем девчоночий голос, неловко было перед укутанными в платки невесомыми бледными девочками, которые снизу глядели на него почтительно, как на доброго дядю. Вокруг громоздился вповалку пестрый вокзальный скарб: чемоданы, узлы, авоськи с бесценными московскими батонами, белели усталые лица, затененные озабоченностью, воздух был пропитан запахом близкого туалета, немытых тел, несвежей одежды — и почему-то теплого кислого теста — полузабытым детским запахом...

— Спасибо вам, — вдруг, запнувшись, сказала Антонина Михайловна. — Не только за то, что поднесли чемоданы. Я знала, что вы именно такой. Я плохо вижу, но слух у меня прекрасный. Единственный голос, который ни разу меня... — она поискала слово, чтобы не признаться в слабости, — ни разу меня не донимал — это был ваш голос...

Много лет спустя вспоминал Глеб Скворцов убогий скамеечный лабиринт и прелую духоту вокзала, вспоминал голос умной учительницы и слова, ненароком ткнувшие в самую сердцевину, в самую суть его жизни и характера. Научившись с годами кое-что понимать в себе, он даже удивился, как редко приходилось ему бывать самим собой и говорить собственным голосом. Он вечно что-то скрывал, что-то утаивал; он молчал о посаженном отце, объявив себя, по совету дяди, круглым сиротой (и не подзревая момента, когда это и впрямь стало правдой), он держал при себе все, что знал о делах в дядином ателье, он скрывал даже свое деревенское происхождение, сам вместе с охламонами отпуская шуточки насчет «дярёвни», — с привычным ощущением, что в нем, как и во всем прочем, есть некая червоточина, которую надо прикрыть, замас-

кировать. В сущности, никто по-настоящему не знал, каков он на самом деле. Природа одарила его защитным маскировочным механизмом, и Скворцов, взрослея, все более осознанно совершенствовал его. Это облегчало ему жизнь. Даже армия, тяжкая для многих, ему далась легко благодаря восприимчивости к системе внешнего ритуала, столь здесь ценимого: глазу старшины было приятно его умение заправски козырнуть, повторить команду, вытянуться по стойке «смирно» и носить гимнастерку без единой складочки. Он и пробыл-то на строевой недолго, быстро был привлечен к клубной работе, прославившись в гарнизоне как исполнитель басен Михалкова и автор юмористических миниатюр, которые печатались даже в «Красной звезде». Это было уже началом будущей профессии. Артистическая способность к пересмешничеству — или талант — произнесем, наконец, это слово — рано определила его специальность и обеспечила заработок. Еще первокурсником-журналистом он начал посылать в провинциальную прессу короткие материалчики под разными псевдонимами для рубрик вроде «Знаете ли вы?». Две первые заметки были напечатаны в районной газете «Нечайская правда», он до сих пор их помнил. Одна рассказывала о происхождении слова «вермишель» от имени французской актрисы Веры Мишель, другая объясняла историю выражения «с волками жить — по-волчьи выть» и повествовала о мальчике, который не то в шестнадцатом, не то в семнадцатом веке попал в волчью стаю и не только научился выть по-волчьи, но даже оброс волчьей шерстью. (Впоследствии, уже под собственным именем, он употребил эти публикации для едкого фельетона о нетребовательности некоторых печатных органов, предоставляющих свои страницы псевдонаучной отсебятине.) Он выступал и на эстраде с чтением собственных юморесок и пародий, охотно участвовал в самых дальних и самых халтурных гастролях, он пробивался сквозь литературную поденщину, постепенно добывая себе имя, положение и без серьезных ссор — репутацию человека зубастого. Он исподволь распрямлялся, приобретал уверенность; он уже и не думал стыдиться деревенского своего происхождения, напротив, с подчеркнутой гордостью упоминал и о посаженном отце, и о том, что родился в овине. Давнишнее умение Глеба плести лапти, которое в деревне доставляло ему иногда пяток-другой яиц на пропитание, теперь нарасхват ценилось в кругах московской интелли-

генции; не в силах выполнять все заказы, Скворцов оставлял свои изящные безделушки лишь на память женщинам, дарившим его благосклонностью, и коллекция этих сувениров, разбросанная по всей Москве и по всему Союзу, росла год от года. Он не женился; в жизни, как и в литературе, у него было пристрастие к краткому жанру; отдавая должное любви и браку на всю жизнь (которые сравнивал с романом или даже эпопеей — царицей всех жанров), Глеб Скворцов находил свою прелесть в череде кратких новелл, фрагментов, миниатюр. Он был молод, здоров, силен — этаким светловолосый викинг; ему никогда не отказывала способность быть своим и среди завсегдатаев окраинной пивнушки, и в среде московской артистической элиты. Он жил легко — легкость была его отличительным свойством; его записная книжка разбухла от телефонов знакомых, и добыча хлеба насущного не составляла для него проблемы.

Но пробиваясь к желанной независимости, Глеб Скворцов одновременно приближал и все более четко обдумывал возможность в один прекрасный день послать все это к чертям, чтобы раскрыть наконец затаенное в себе до времени и во всю полноту своего голоса выдать поистине свое слово — намеком шевельнувшееся однажды простудным ветреным днем и с тех пор неоднократно обдуманное, взлелеянное, приобретающее очертания. Изворачиваясь и паясничая, он ободрял себя напоминаниями об этой цели. Он шел к ней терпеливо, исподволь, по зернышку, по перышку собирая мысли и заметки для некоей книги, важнейшего замысла своей жизни. Скворцов уже знал ей название: «Этюд о масках» — неопределенного жанра многослойное сочинение, открытое и во многих отношениях рискованное, оно позволяло ему высказаться о том, что он знал, как никто другой. Разве не плодотворна для искусства способность человека осознать собственную сущность, какова бы она ни была, — и умно, беспощадно превратить ее в вещество для творчества, обернув даже слабость свою — силой? Уж на один захват этого достанет — зато каков будет захват! После этой книги он обретал право считать себя в полном смысле самим собой, жить свободно, ничего не скрывая и ни на кого не оглядываясь. Она не оставляла уже такой возможности; за ней сжигались мосты, высвобождалась кожа, отфильтровывался состав крови.

И надо же было случиться: в год, когда он уже прибли-

жался к цели, начав первые страницы проблемного введения, когда он уже выходил, так сказать, из виража, на финишную прямую, — его вдруг настигла странная болезнь — не болезнь, а просто, как выразился бы Николай Васильевич Гоголь, черт знает что.

## 2

*Профессиональное употребление масок, ставшее со временем привилегией театра, издавна переплелось с непрофессиональным, повседневным, часто неосознанным; само же понятие маски — с формировавшимся представлением о личности.*

*Маска есть предельное, отлившееся выражение идеи лица, зыбкого и неуловимого, — следовательно, в некотором отношении нечто более подлинное, чем само лицо. Наука физиогномика недаром была серьезна, как теоремы Эвклида: черты внешние были неслучайными при чертах сокровенных.*

*В театре, надевши маску, актер уже не вправе был выйти за пределы своей роли; в менявшихся пьесах или ситуациях он только импровизировал на одну и ту же тему. Это упрощало ему жизнь: импровизация вне рамок была бы непосильна. Маска навязывала и жизненные положения, и реакции — предопределяла судьбу.*

*Но уже в представлениях «Комедиа дель арте» Коломбина выходила на сцену с лицом, ничем не закрытым, — отнюдь не становясь от этого меньшей маской, чем носатый Панталоне или бородатый Бригелла. Это означало новую ступень абстракции в постижении природы личины, догадку, что дело здесь не в клеенчатой или картонной скорлупе, что человеческое лицо вовсе не нуждается в атрибутах, чтобы быть маской.*

\* \* \*

Первые симптомы Скворцов уловил однажды в гостях у своего приятеля, философа Мишеля Шерстобитова. Шерстобитов был одним из тех редких в наше время людей, кого можно было бы назвать философами не только по роду служебных занятий. Невозмутимый умница, способный писать на бог весть какие темы — от структурной лингвистики до буддистской этики, — он был вызывающе ленив. Числясь где-то на необязательной долж-

ности консультанта, он мало интересовался заработком и житейскими удобствами, работал по настроению, принципиально не следил ни за календарем, ни за часами и в своей комнате держал единственный измеритель времени — водяные часы-клепсидру, заполненные то ли киселем, то ли клеем. Одевался Мишель во что попало, бесформенные штаны лоснились на толстом заду, нагрудный карман рубахи был постоянно оттопырен объемистой записной книжкой. Круглое добродушное лицо его с лысым черепом и короткой бородой без усов, с плоским носом и заплывшими сократовскими глазками вызывало воспоминание о картинке-забаве в старом юмористическом журнале: перевернув ее вверх ногами, можно было увидеть новую круглую физиономию с голым подбородком и пышной шевелюрой; крупные складки на бывшем лбу становились очертаниями рта и носа. Человеку же, склонному к отвлеченным сравнениям, после короткого знакомства с Мишелем пришла бы на ум мысль о старом деревянном домишке, застрявшем в окружении многоэтажных новостроек. Всех его соседей, составлявших когда-то улицу, давно снесли, а этот оказался на ничейном пространстве, не подверженном переменам, и продолжает жить, ни на кого не оглядываясь, за добродушным заборчиком, где цветут вишни, где сушится на веревках белье и у скрипучего сарайчика сложена поленица дров. Вокруг в ногу со временем суетятся современные люди, а тут зимой топят печь, летом лузгают семечки перед калиткой, ходят с березовым веником в баню и извлекают из этой жизни свое, утерянное для других удовольствия.

Шерстобитов сам жил в таком до недавних пор, но и переселенный в крупнопанельную башню, казалось, почти не заметил перемены. Он мало зависел от внешних условий; напротив, все вокруг как-то само собой подлаживалось под его стиль. Паркетный лак, блестевший в соседней комнате, у него стерся начисто, балкон оплели вьюнки, а прилегающий к балкону кусок панели Шерстобитов сам прихоти ради очень похоже раскрасил под кирпич. Воздух и тот в его комнате был иной, чем в соседней, — такой бывает в деревянных, с дышащими стенами, домах; в тот небывало жаркий день, когда к нему наведалься Скворцов, здесь веяло озоном, чуть-чуть зеленой листвой и даже вроде бы отдавало древесной трухой. Ближе к Шерстобитову это ощущение дачной прохлады усиливалось; каза-

лось, он носил вокруг себя, вроде нимба, собственную атмосферу, в ней жил, ею дышал — не то чтобы несовременный или старомодный — отдельный от всего этого.

Жена Шерстобитова, Тамара, насчет его независимости имела, правда, особое мнение. Эта сухощавая смуглая женщина, для которой выйти на улицу с неподкрашенными губами и глазами было все равно что появиться там в затрапезном халате, казалась полной ему противоположностью. Умная, энергичная, гордая своей полезной специальностью инженера-электронщика, она держала на своих плечах семью и за себя, и за мужчину, давая Мишелю возможность заниматься его неторопливыми раздумьями. Во всяком случае, она приносила основной заработок и в язвительную минуту могла иногда обобщенно пройтись насчет лириков-гуманитариев, которые свысока философствуют о бездуховности плебеев-технарей, но позволяют им кормить себя, а заодно и весь мир, включая индийских дервишей и американских хиппи. Пожалуй, это был запрещенный прием, приоткрывавший перед посторонними завесу над сложными отношениями супругов. Мишель, правда, реагировал на такие выпады невозмутимо, как на повод для отвлеченного диспута, тем более что это действительно был литературный конек Тамары; она владела пером и иногда печатала в популярной прессе статьи на тему «Технический прогресс и личность», неизменно подписывая рядом с фамилией своей инженерский и кандидатский титул. Конечно, два сапога пара, когда они разные; но все же поговаривали, что Шерстобитовы близки к разводу и что удерживал их пока вместе только шестилетний сын Гошка. Слишком уж настойчивыми становились колкие выпады Тамары в присутствии посторонних, слишком намеренно переводила она разговор на свою любимую тему — от чего угодно, даже от беседы о летнем отдыхе Гошки. Так было и в этот приход Скворцова.

Кроме него у Шерстобитовых была еще одна гостья, очаровательная блондинка по имени Ксена, которую Мишель полушутя представил Глебу как исполнительницу главной детской роли в знаменитом некогда фильме «Порыв». Скворцов, как ни странно, узнал ее. Еще бы, он видел этот фильм и запомнил трогательную малышку с

интонациями актрисы-травести, она вмешивалась во все события, устраивала дела взрослых и умиляла зрителей озабоченной жалобой: «Ох, даже сердце заболело», — хватаясь при этом за животик. В середине фильма девочку сменяла взрослая актриса, которая безуспешно пыталась выглядеть столь же очаровательной. Ксена и сама сейчас как будто немного подражала себе маленькой — но более тонко и удачно, чем ее кинопредшественница. Она заканчивала теперь театральное училище, мальчишеская интонация травести была ею профессионально отработана и полна шарма, к тому же изъяснялась она чертовски умно, ничуть не уступая в беседе философу и его ученой жене, хотя вид у нее при этом оставался такой, будто она вот-вот сейчас воскликнет «Ох, сердце болит» и схватится за живот.

— Да, да, вся суть в оглядке, — говорила, например, она, прикуривая вслед за Тамарой от спички Глеба Скворцова. — Все строится по образцу: так делают, так будем делать и мы.

— Только не Мишель, — выпускала из ноздрей дым Тамара. — К моему мужу это не относится. Когда я слышу, что наш век называют веком темпа, который подгоняет делать как можно больше, — отсюда и стрессы, и перенапряжение, и неврозы...

— Я пока что не заметил, что скорость приводит к более существенной цели... — не торопясь, с расстановкой начинал свою фразу Шерстобитов.

Женщины продолжали говорить одновременно с ним, как-то даже не мешая ему, успевая завершить абзац, пока он справлялся с коротким периодом; их фразы умещались между его словами, как умещается мерка пшена в мерке, полной горохом.

— Все дело в том, что у нас еще царит провинция. Даже в Москве. А я ведь езжу в командировки, я вижу. Нам все еще предстоит пройти. И для этого кое-что делается, между прочим. Но когда в этой провинциальности начинают видеть добродетель...

— За последний десяток лет сменились битники и хиппи...

— Во всем оглядка. Даже если не хочешь — иначе не выходит. Ездить на юг одно время стало как будто банальностью, искали чего-то непохожего. Хорошо. Теперь на се-



вер, на восток, на запад — все изъезжено. Не осталось неиспользованных стран света, вы понимаете, в чем анекдот?..

— Битлы и сексуальная революция, рок-н-ролл, хулахуп, твист, шейк...

— Вот-вот. Когда Мишель отпустил бороду, он был, как всегда, независим. Тогда борода была редкостью, почти вызовом. Начальство могло выразить недовольство. На улице оглядывались. Я сама слышала, как в трамвае один мужчина, кивая на Мишеля, шепотом объяснял своей спутнице: у него борода, потому что это разбитое поколение...

— Но даже в стремлении к оригинальности все равно присутствует оглядка, обратная зависимость. Вовсе не обязательно быть стандартно неотличимым от других, как раз напротив...

— Я все это пропустил — но сейчас никого уже и не интересуется мода прошедших десяти лет. Я могу сразу усвоить лишь моду одного десятого, сиюминутную — и окажусь в том же пункте Б, что и остальные...

— Когда он только начал отращивать бороду, к нему пришли фотографы из журнала, нужен был его портрет, Мишеля хотели сделать знаменитым. У него была всего недельная щетина, его, естественно, попросили побриться. Он сказал: что ж я, зря старался целую неделю? Сбрею, а через неделю еще кто-нибудь захочет меня запечатлеть. Подождите, пока отрастет фотогеничная борода...

— Надо быть на голову выше или ниже, умнее или глупее, — неважно, лишь бы немного, но отличаться от других...

— Так, может, и вообще те, кто на автомобильной скорости следуют за всеми поворотами, изгибами и загогулинами времени...

— Но в том-то и анекдот, что буквально года через полтора бороды стали модой, и Мишель волей-неволей оказался одним из ее адептов. Он может игнорировать это, но среда сама настигает, он оказывается с ней наравне, от нее не уйдешь.

— Только не слишком сильно, не в самом существенном. Здесь нет речи о духовности, об ответственности. Даже о выборе, в конце концов...

— ...стремятся к той же точке Б или, если угодно, С, к которой я напрямик вразвалочку дойду, ничуть не отстав, — вровень с ними обеими заканчивал Шерстобитов

свою партию в этом трио для баса, меццо-сопрано и дисканта, которому Глеб Скворцов бессловесно подыгрывал на губах вместо оркестра.

Глеб в тот день наведался к Мишелю по серьезному делу: он хотел впервые прочесть ему фрагмент из введения к книге о масках; мнение и вкус Шерстобитова, умевшего сформулировать едва уловимую мысль — как будто обиняком, однако в самую точку, — Скворцов высоко ценил. Но при госте уединиться для разговора пока не было возможности, да Глеб этого и не хотел. Он не мог оторвать взгляда от умненькой студентки с мальчишеским голоском и мальчишеской прической, от ее овального лица, носа с легкой красивой горбинкой и иронической складкой губ. Правда, на безымянном пальце Ксены золотилось обручальное кольцо, но что из того? Глеб вскоре взял разговор в свои руки, стал рассказывать подлинный анекдот про литератора, который недавно заявился в одну редакцию требовать гонорар за несколько строк своей юбилейной благодарности: «Прошу через вашу газету...» Ксена смеялась, и Глеб чувствовал, что она хочет ему понравиться, тем более что Шерстобитов представил его как влиятельного фельетониста и не совсем кстати рекомендовал ей познакомиться с ним своего мужа. На столе присутствовал графинчик водки, настоянной на лимонной корке, и бутылка вина, все были уже навеселе — все, кроме Скворцова. Именно тут он в первый раз и ощутил необъяснимый сбой в своем самочувствии: ничего с утра не евши, он в эту жару пил даже больше других, потому что легкости ради очень желал захмелеть, но оставался удручающе, отвратительно трезв. Он, обладавший способностью в хмельной компании пьянеть без вина, сейчас не мог даже на самую малость заразиться общим настроением. Однако еще нечто более странное ждало его впереди: уединившись на минуту в туалет, Глеб почувствовал головокружение и, чтобы не упасть, вынужден был ухватиться за цепочку для спуска воды; но едва он успел обрадоваться внезапному действию выпитого и вернуться к столу, как голова его опять оказалась трезва, а мир вокруг — устойчив. Глеб сперва даже не понял, что это за ерунда, для проверки уединился еще раз: да, он был в стельку пьян, но ощутить это мог лишь наедине с собой. Медицинский сей феномен не столько его встревожил, сколько заинтересовал, однако думать

над ним было недосуг, и он вернулся к ухаживанию за прелестной студенткой.

Второй раз ему стало не по себе, когда он все-таки улучил минуту, чтобы прочесть Шерстобитову наедине свой отрывок. Он умышленно выбрал наиболее серьезный проблемный кусок и был неприятно смущен, когда среди чтения Мишель начал похихатывать и хлопать его по плечу: «Здорово, ей-богу! Прелестна у тебя эта двусмысленность. Хоть в «Вопросах философии» печатай, хоть в «Крокодиле». Я вообще считаю пародию единственным жизнеспособным жанром». Глеб слушал, задетый; то, что он читал, во-первых, не казалось ему смешно, во-вторых, не являлось пародией, а в-третьих, на публикацию рассчитывать никак не могло. Из-за собственной трезвости он не сразу оценил состояние Шерстобитова; лишь через несколько минут, когда Мишель достал свою телефонную книжку и, декламаторски завывая, стал читать по ней Блока, все стало на свои места. Но тревожная заноза в настроении осталась, она оставалась даже тогда, когда Глеб провожал Ксену домой, продолжая развлекать ее остротами. Они уже перешли на «ты»; Ксена была под хмельком, но говорила по-прежнему умно, только несколько более зло, чем прежде: о том, как ей нравится Мишель и как на него давит Тамара, сделавшая своей темой насмешки над духовностью, чтобы скрыть ее отсутствие у себя. Потом стала говорить про своего мужа-художника, очень, очень талантливого, Глебу нужно обязательно посмотреть его картины, он сложен для понимания, попросту сказать, — тут она употребила шепот, — абстракционист, поэтому нигде не выставляется, живет побочным заработком, но очень, очень талантлив... И вдруг Скворцов вспомнил, как в том самом фильме «Порыв» взрослая уже героиня шла таким же вот летним остывающим вечером с новым знакомым и рассказывала ему о муже — сама уже влюбленная в своего спутника и вскоре сполна доказавшая это. Асфальтовая улица была пряма, как лунная дорожка, бледную тень от луны уверенно пересекали искусственные тени фонарей, они сменялись, перекрещивались, росли, укорачивались, двоились, троились, наперебой обгоняли друг дружку. У своего дома Ксена протянула Скворцову руку для прощанья, он, наклонясь, поцеловал ее, опять запоздало отметил, что так поступил и герой фильма, спутник повзрослевшей девушки, и окончательно исполнился уверенности, что ничто теперь не в силах за-

держат осуществление давно предписанного сценария.

Потом вдруг оказалось, что к дому Ксены они вовсе еще не пришли, он провожал ее дальше по той же самой улице, по зеленоватому от луны асфальту, на котором сутились тени; на углу Ксена свернула в переулок, Скворцов подался за ней, но почувствовал, что тень его заворачивать не хочет, она тянулась напрямую дальше — приклеилась к подошвам и не пускала в сторону. Асфальт обернулся скользким льдом, Глеб был теперь на каком-то непонятном катке, уже в одиночестве; домов вокруг не было, только заледеневший зимний пруд и деревья. Двигаться здесь было еще труднее, тень подсекала его у самых подошв, и стоило рвануться сильнее, как он шлепался о лед. Тогда он попробовал оторваться от нее, приподнял ногу — тень отстала, но за другую держалась крепко. Наконец от догадался подпрыгнуть — это был краткий миг свободы, наполнивший Глеба ощущением легкости и полета, какое бывает во сне, — но приземляться приходилось опять в капкан. Он попробовал передвигаться прыжками и тут заметил, что вокруг собрались зрители, поэтому он старался делать прыжки посмешнее: балетные антраша, цирковые кульбиты, которым невеста когда успел научиться, — в отчаянной надежде убедить, что ничего не произошло, он просто забавляется для своего удовольствия и готов позабавить других. Среди зрителей оказалась и Ксена, и ее муж, похожий на лингвиста Богоявленского, и было уже неважно, куда сворачивать. Глеб давно понял, что это все-таки сон, и усилием воли не раз пытался проснуться. После нескольких попыток ему это удалось. Он лежал у себя в комнате, раздетый, на подушке и простынях: как он добрался до дому после прощания с Ксеной, как разделся и лег — совершенно не запечатлелось в его памяти. Выходит, он здорово окосел; может, и вчерашняя трезвость почудилась ему спяну? Голова болела от духоты, наползавшей в распахнутое окно. Скворцов оделся, без удовольствия умылся из-под крана кипяченой водой, едва остывшей в трубах за ночь, выпил теплого вчерашнего кофе и вышел на улицу.

Время уже было близко к полудню. Жара набирала силу; на раскаленном асфальте можно было жарить яичницу. Головная боль сменилась тягостной опустошенностью, непонятная заноза вновь объявилась где-то между диафрагмой и грудной клеткой, и чтобы избавиться от нее,

Глеб решил сейчас же позвонить Ксене. Он был уверен, что записал ее телефон, хотя не помнил, когда это сделал. Телефон действительно оказался в записной книжке. Скворцов вошел в кабину автомата; рубашка сразу стала мокрой, точно он погрузился в аквариум, полный противной теплой воды. Ксена нетерпеливо повторяла на другом конце провода: «Я слушаю вас, алло!» — а он никак не мог вытолкнуть из себя приветствия. Вокруг плавали упитанные амебы и инфузории, прозрачные, как слезинки, металась точечные аквариумные циклопы; пузырьки Ксениных слов поднимались из трубки вверх и лопались у потолка, возле вывернутой лампочки.

— Андрей, ты откуда звонишь? — спросила она. — Что значит Глеб? Ты пытаешься стать, наконец, остроумным? — пузырьки забурлили мелко и встревоженно. — Нет, в самом деле Глеб? Уф-ф, господи! — это выдохнулось у нее крупно, чуть ли не с детский воздушный шарик. — Ну до чего похожи ваши голоса! Просто удивительно. Вчера я этого как-то не заметила. Думаю: мистика, откуда он мог узнать твое имя? Конечно, приходи, Андрей сейчас вернется. Ну до чего вы похожи!.. Или это телефонное искажение?

— Искажение, — вымолвил Глеб, сам прислушиваясь к своему голосу — и впрямь звучащему не совсем привычно; да ведь мало ли что могло почудиться в этой камере пыток! Он вылез из кабины — будто вынырнул на поверхность, жадно глотая воздух и отирая лицо платком, мокрым, как и рубашка; Глеб выжал его в кулаке, рубашка сама мгновенно обсохла на солнце, дав недолгое ощущение свежести и прохлады, и единственная мысль, которую Скворцов сумел отметить в себе: что по инструкции не полагалось бы сушить нейлон на солнце.

Ксена с мужем жили тесно, в единственной комнате; занавеска отделяла угол с кроватью, остальное пространство было загромождено холстами на подрамниках, папками и картонами, среди которых шмыгала на трех ногах хромая белая мышка. Окна затенялись соседними домами, поэтому под потолком горела голубоватая лампа дневного света. Андрей оказался красивым русобородым человеком примерно Глебова возраста; у него были нервные руки, напряженные брови, взгляд как бы обращен внутрь, так что он даже отвечал собеседнику не сразу, после некоторой

спазмы. Не потому ли голос Скворцова из будки ввел Ксению в заблуждение? С первых же произнесенных слов стало ясно, что между ними нет ничего схожего. Из-за того что Глеб продолжал невольно следить за собой, голос его звучал неестественно, стесненно, но совсем по-иному, чем полчаса назад, он сам себя не узнавал. Это ощущение мешало ему смотреть картины и слушать объяснения художника — обрывистые, резкие, даже вроде бы раздраженные, точно он заранее рассчитывал на неприятие и давал понять, что ему это все равно.

— Современный апокалипсис, — поворачивал он перед Скворцовым очередной картон, заполненный красивыми скоплениями цветowych пятен. — Мне хотелось передать здесь ощущение трагизма... небывалого, невыносимого трагизма нашего века. Синий цвет для меня — цвет неба, цвет Христа. Желтый — цвет напалзающего на него безумия, атеистической пустоты...

«Господи, — сочувственно уяснил наконец Скворцов, — мало того что он абстракционист, он еще религиозный абстракционист». Ему был симпатичен этот русобородый художник, его нервная речь и упрямо наклоненный круглый лоб; хотя как следует сосредоточиться на картинах не удавалось, он понимал цену этого подвижнического упрямства — когда однажды решаешься пойти наперекор всем, ни с кем не считаешься, зарабатывая на жизнь эскизами для конфетных коробок и прочих кондитерских изделий — может, и не скудно зарабатывая, но не в этом же дело...

— Постой, постой, — остановила Ксена мужа, который уже собирался снимать картон. — Ты ведь еще не объяснил главного. Вот видите, Глеб, эти черные точки, почти пылинки, местами пронизывающие синеву, — они незаметно собираются как бы в гигантский крест, и его со всех сторон лижут красные языки. Здесь не просто ужас апокалипсиса, здесь и надежда на искупление, которую оставил Христос.

«Не может быть, — похолодел Скворцов. — Не может быть, чтобы и она...» Он не сумел бы объяснить, почему это открытие подействовало на него как ушат холодной воды. Ксена говорила ему «вы», все было естественно: жена художника, подруга, единомышленница — мало ли что он мог вообразить себе пьяной ночью?.. И эта чудесная цепочка на ее шее — должно быть, от нательного креста... Но ведь та киногероиня никак не была религиозна, он это

помнил наверняка. На экране этого прозвучать и не могло — может, в подтексте, может, режиссер внушал это на репетиции, как ключ к образу? «Господи, — опомнился он, — что мне за чушь лезет в голову? Она ведь тогда была шестилетней крохой...»

Ксена окончательно перехватила слово, она изъяснялась куда лучше мужа, щеки ее порозовели, ироническая складка губ стала вдохновенной, пленительный мальчишеский голосок звенел, когда она говорила о коренных антиномиях человеческого существования, которые не могут быть разрешены иначе как на уровне религиозном, то есть уровне высшей духовности, — одной ее интонацией можно было бы упиваться с чистейшим наслаждением — если бы каждый раз, когда она доходила до слова «духовность», неуправляемый рефлекс не вызывал у Глеба Скворцова прилива совершенно неуместного, безобразного, неприличного восторга, и чтобы сие не стало заметно, он поспешил сесть на табурет, хотя из этого положения картины слегка отсвечивали. Высоко на стене, под самым потолком, он вдруг увидел отсюда большое полотно, которого прежде не замечал: среди обычных цветных пятен и переплетений здесь была крупно изображена реальная голова в нимбе — необъяснимо знакомая; Глеб даже замер, вглядываясь в это лицо с запрокинутой вверх, растрепанной рыжеватой бородой и страдальческими иудейскими глазами; он готов был поклясться, что знает натурщика, — и опять опомнился: «Что сегодня со мной! Ведь этого не может быть...» Ксена замолкла, и Скворцов спохватился, что неприлично глазеет по сторонам, отвлекаясь от того, что показывают хозяева. К счастью, на него в эту минуту не смотрели, оба махали руками на маленькую пожилую женщину, просунувшую голову в дверь: «Не сейчас, не сейчас, попозже!..» Глеб почувствовал, что возник удобный момент подняться и откланяться. Однако он еще некоторое время постоял, слушая голос Ксены и согласно кивая; чувствовалось, что он принят здесь за единомышленника; складка на лбу Андрея давно расслабилась, он заметно помягчел и благодарно выслушал прощальную похвалу Скворцова. После долгого молчания у Глеба осел голос, ему пришлось сглотнуть слюну, и это произвело впечатление искренней взволнованности.

Горло у него действительно пересохло; самым большим наслаждением было бы сейчас выпить пару кружечек пива, но сначала надо было получить гонорар в редакции,

удачно располагавшейся рядом, на бульваре. С деньгами в кармане он направился к пивному павильону; не доходя квартала, увидел хвост очереди, изгибавшейся на двух углах, и встал позади гражданина с каким-то помятым лицом, хотя и в наглаженном костюме. Очередь жалась по солнечной стороне улицы, пахло дымом и горелым мясом.

— Жара, — сказал, оборачиваясь к Скворцову, помято-наглаженный гражданин. — Хоть на верблюде езд.

— Некоторые ездят, — рассеянно промолвил Глеб, указывая на небольшой караван, который пересекал Самотеку и двигался в направлении цирка.

Гражданин, однако, не взглянул ни на длинношеих дромадеров, ни на невозмутимых погонщиков в белых бурнусах, он уставился на Скворцова, словно именно тот был больше всего достоин удивления.

— От жары чего не бывает, — продолжал Глеб, привычно развивая разговор, на который так охотно откликаются в любой очереди. — На Сретенке, говорят, ребяташки нашли настоящие страусиные яйца. Две штуки. Одно разбили — оказалось, вкрутую испеклось.

Но гражданин опять не откликнулся на предложенную тему и смотрел он теперь не на Глеба, а на его часы, обычные часы марки «Вымпел». Странно держал себя этот тип. Очередь перед ним подвинулась на шаг — он этого не заметил.

— И что с ними сделали, с яйцами? — откликнулся вместо него долговязый парень в соломенной шляпе.

— Одно отдали в музей, — так же рассеянно ответил Скворцов, соображая, что здесь можно простоять до вечера, и рассчитывая, куда лучше податься: в Дом журналистов или в ЦДЛ — если там не закрыто. — Тимирязевский, — уточнил он, делая шаг из очереди. — Улица Герцена, показывают с двух до шести.

— А другое? — допытывался долговязый уже вслед ему.

Но Скворцов не успел ответить, потому что гражданин в костюме внезапно схватил его за запястье.

— Минуточку, — пролепетал он, задыхаясь, и постарался покрепче сжать свою сухонькую лапку. — Вы что ж это от меня убегаете?.. Граждане! — заверещал он вдруг и вонзил в руку Скворцова болезненные коготки. — Прошу



на помощь! Я тебя узнал, негодяй!.. ай-яй-яй... По голосу узнал! Думал, никто тебя не поймают? А часики-то мои — вон! Мои часики! — торжественно объяснил он очереди, которая, не теряя порядка, обогнула их полукольцом. — Позавчера в подъезде с меня снял. В темноте. А я по голосу узнал. Бандит! — припечатал он с пафосом.

— Папаша, не шумите, — поморщился Глеб, стараясь осторожно высвободиться из его коготков. — Уверяю вас, вы ошиблись. — И который раз за день прислушался к своему голосу: опять как будто новому, незнакомому; это был подержанный, потрепанный голос, когда-то, может, достойный названия бархатного, а теперь от силы плюшевый или даже скорей фланелевый, вдобавок с таким блатным одесским пришепетыванием. Горло саднило от сухости, и не осталось слюны, чтобы смочить его.

— Ошибся, ишь ты! — злорадно передразнил помятый гражданин; с языка его к Глебу тянулась тонкая липкая нить, опутывая паутиной, парализуя движения. — Да я двадцать лет в тонкостенной квартире живу, я любой шорох на слух различаю. А уж твой бандитский голос до смерти упомяну. И номер этих часиков — наизусть: триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать пять. У меня квитанция есть из ремонта. А ну-ка снимай! Граждане, прошу в свидетели!

— А другое? — настаивал поверх голов долговязый в соломенной шляпе; полукольцо очереди уже начало обрастать посторонней толпой, интересовавшейся темой скандала.

— Что другое? — не понял Глеб.

— Яйцо другое? — требовал любознательный долговязый, зачем-то протискиваясь к нему.

— А! Кажется, отдали в ресторан «Националь» на завтрак какой-то африканской делегации, — ответил Скворцов и с изумлением отметил, что его недоброкачественный плюшевый голос опять внезапно сменился — на этот раз вполне благопристойным модулирующим баритоном.

Бдительный гражданин тоже в недоумении прислушался, хватка его невольно ослабела, тем более что с другой стороны его отвлекал какой-то интеллигент с портфелем, бубнивший насчет презумпции невиновности. Гражданин ответил ему раздраженной тирадой о том, что бандитам вообще надо рубить руки, как это с давних пор делают в Швеции. Какая-то высокая женщина с низким

голосом настойчиво звала между тем милицию, кто-то из толпы посторонних пытался воспользоваться случаем, чтобы затесаться в законную очередь, а какая-то тетушка с кошелкой совсем уж невпопад интересовалась, почему тут яйца: по девяносто или по рубль тридцать. Скворцов улучил секунду и окончательно высвободился из сухонькой лапки — тот, кажется, и не заметил, обозленный юридическим спором. За спиной Глеба женщина с низким голосом продолжала звать милицию, поясняя, что у нее действительно украли кошелек, и под ее крик соломенная шляпа на долговязом вдруг предательски вспыхнула ярким пламенем.

Жара окончательно расплавила асфальт, он оплывал, как лава, по Садовому кольцу вниз к Самотеке широкой, ровной, ослепительной рекой цвета солнца; дома по берегам искаженно отражались в потоке и, казалось, тоже сейчас вот-вот оплывут; раскаленные окна вспыхивали одно за другим, пока Глеб Скворцов пробирался против течения вверх, бормоча бессмысленные ругательства; он то и дело начинал говорить вслух — что попало, лишь бы вспомнить, поймать, наконец, свой ускользающий голос; в горле, во рту и на языке его поочередно сменялись всевозможные звуки и регистры — как будто беззвучно срабатывал неподвластный воле переключатель, но все невпопад; в изоощренном механизме явно произошел сбой, перепутались колки, рычажки или клавиши, и Глеб Скворцов извелся в тщетных попытках нащупать единственно нужную.

По улице проехала поливальная машина, струя воды, едва достигнув асфальта, с шипением превратилась в пар, как от соприкосновения с горячим утюгом, и дорога позади машины опять оставалась суха. Внизу, за поворотом, открылся бассейн, заполненный чистой подсиненной водой; Скворцов рванулся к нему, едва не угодив под машину, и убедился, что это мираж. Когда в переулке показалась бочка с квасом без единого человека в очереди, — симпатичная продавщица в белой курточке скучала под прохладным тентом, — он даже не стал тратить нервов на соблазн, только облизнул пересохшие губы, чувствуя, что сил больше нет и что он вот-вот останется вовсе без голоса. Тогда Глеб Скворцов по-настоящему испугался, остановил сумасшедший гон, огляделся — и вдруг понял, куда его

безотчетно несли ноги по лабиринту огнедышащих улиц: он был уже близок к дому, нелепому дому, какой можно встретить, наверно, только в Москве — составленному из двух половинок с разной высоты этажами, с двором-колодецем, таким глубоким, что со дна его среди бела дня можно было видеть на небе звезды. Ноги сами припустили бегом, скорее, еще скорее — туда, где только и могла ждать надежда на разрешение, избавление, легкость; одним махом по лестнице с переходами вниз-вверх взметнулся он на второй с половиной этаж, позвонил — и в раздвинувшуюся щель выдохнул:

— Нина, это я, здравствуй.

И впервые облегченно перевел дух, услышав, наконец, и вправду свой голос, чуть окающий легкий тенор — усталый, родной, единственно сладостный — как сладостна во рту одна лишь своя, ни с чем не сравнимая слюна.

### 3

*Маска условная, не закрывающая лица, предъявляла ничуть не менее жесткие требования к ее обладателю, чем рисованная личина. Определяя роль, она была связана с обилием расписанных до мелочей правил. Поведение, костюм, походка, реплики диктовались не столько прихотливыми склонностями, сколько обязательным для каждой маски сценарием (обычаем, этикетом, уставом). Без такой опоры люди бы растерялись, вынужденные каждый раз придумывать за себя заново все слова, почувствовали бы себя незащищенными, голыми, беспомощными, не знали бы, как к кому относиться, как ступить и молвить; наступил бы хаос, лишенный ориентиров, — кроме ненадежных, зыбких, с трудом распознаваемых ценностей, зависящих от непостоянной человеческой природы. Стала бы невозможной жизнь, основанная на организации и преемственности. Масочная условность пропитывает бытие и, затвердевая, составляет каркас культуры, костяк, на который каждый нанизывает плоть своих, до известного предела свободных вариаций.*

*Пожалуй, неконкретность, невещественность большинства современных масок осложняет самочувствие людей. Не все носят форму и знаки отличия. Впрочем, и слишком грубая, заскорузлая личина таит свои опасности. Хроники рассказывают, что при дворе курфюрста Эттингенского (пятнадцатый век) подвизался шут Бальбек, никогда не*

снимавший на людях потешной рожи. Однажды ночью озорники или злоумышленники, наверно, обиженные его насмешками, похитили маску Бальбека — и бедняга утром просто не смог выйти на работу: дворцовые стражники, не узнав, приняли его за чужака, заподозрили в злых намерениях, и он умер под пытками, не имея возможности оправдаться, ибо даже голос его, как повествуют хроники, без маски никто не соглашался признать. Отсюда, полагают, и пошло выражение «потерять свое лицо»<sup>1</sup>.

Итак, не будет чрезмерной смелостью заявить, что маска всегда была вожделенной целью человека. Даже не признаваясь в этом себе, он мечтает о ней — и не дай бог какому-нибудь умнику внести в его жизнь двусмысленность, неопределенность.

\* \* \*

Дверь открылась сразу — как будто его уже ждали у ключа, как будто спешили навстречу его шагам. Из распахнувшегося темного проема на Глеба уставились глазки усатой, красноволосой от хны старухи, лицом похожей на Бальзака. Старуха была в платье декольте, открывавшем на плечах ужасные рубцы от бретелек; из кармана ее передника, точно из сумки кенгуру, выглядывала карликовая мордочка красношерстного шарло, до того похожего на хозяйку, словно это был ее родной малютка сын, чьим-то колдовством превращенный в собачку.

— Кто там? — послышалось из глубины коридора.

— Это к Нине опять. Мужчина, — хихикнула красноволосая старуха.

— Все ходят и ходят, — отозвалось из коридора. — Я вам рассказывала, Регина Адольфовна, как к одной парикмахерше шпионы на связь ходили?

— Ох, боже мой, Анфиса Власовна, — захныкала красноволосая. — Ну зачем вы все про свои ужасы? Может, она просто покровителя нашла.

Скворцов поздоровался с ней, не удивляясь, что колдунья его не узнала, — только грустный шарло снисходительно кивнул ему из кармана, пропуская в глубь тесно-

---

<sup>1</sup> Сообщение впервые напечатано в районной газете «Нечайская правда». Вопрос о маске шутовской, дающей иллюзию свободы и право вытаскивать кукиш из кармана, вообще заслуживает особого рассмотрения.

го и темного, точно старый платяной шкаф, коридора, где его поджидала вторая старуха — менее проворная, поскольку она передвигалась в громоздком инвалидном кресле-каталке. Кресло досталось Анфисе Власовне задаром, по случаю, и она не смогла с ним расстаться, предвкусывая день, когда и в самом деле окажется, не дай бог, парализованной и сможет наконец пожать плоды своей предусмотрительности, — почти желая, чтоб этот день наступил скорее, а до той поры каждодневно примеряя роскошный предмет. Бедняга была помещена на запасливости, комнатуха ее выглядела настоящим складом круп, сухарей и консервов, а в дворике, лишенном солнца, каждый год вскапывалась для нее бессмысленная грядка картофеля. Грядку обрабатывала Регина Адольфовна, и когда она пыталась жалобно заикнуться, что проще было бы покупать картошку в магазине, Анфиса Власовна отвечала твердо: «Мало ли что. А вдруг война. Мы в ту войну одной картошкой продержались». Продержалась она, видимо, плохо, воспоминание о голоде до сих пор сбивало ее; в кухне она таскала у Нины продукты, иной раз даже сливала из ее кастрюлек бульон, подливая взамен чистую воду. Трудно сказать, употреблялось ли что-либо из этого в пищу, до того старуха оставалась тоща при своих запасах. Тонкие ее губы были сморщены, как будто под носом кто-то прошил их и стянул ниточкой, навек отменив улыбку. Строгость Анфисы Власовны была задана воспоминаниями юности и особо чистым происхождением, в знак которого ее коротко стриженные волосы до сих пор были подвязаны красной косынкой и которое не просто давало ей право — обязывало осуществлять миссию гегемона при своей соседке, бывшей дворянке и даже баронессе Регине Адольфовне. Та покорно признавала эту гегемонию, грядку для соседки вскапывала, в общем, безропотно, зато отстояла этой ценой и хну для волос, и декольте, и кой-какие еще дворянские замашки. Вообще баронесса была куда больше себе на уме, чем это могла вообразить Анфиса Власовна. Было в Москве место, где она возрождалась, держась с высокомерием, капризностью и гонором поистине титулованной особы. Это были собачьи выставки, куда она приносила в кармане своего Карлушу — самого чистокровного шарло в Москве, а то и во всем Союзе. Предки его принадлежали еще герцогу Бургундскому, одно чтение его родословной занимало полчаса. Ради этого кобелька перед ней заискивали профессора, полковники, народные артисты и просто тем-

ные личности, владельцы одиноких сучек, готовые на все, никаких денег не жалевшие за краткий миг Карлушиной благосклонности. Но не в деньгах было дело, а в почете, власти, в величии, о котором не подозревала плебейка-соседка и догадаться в своей презренной глупости не могла. Грустный красношерстный шарло заменял Регине Адольфовне утерянное дворянство и титул, составлял опору ее жизни и самосознания. О, посмотрела бы Анфиса Власовна, с каким высокомерием фыркает баронесса на униженных соискателей, как строго, как придирчиво до самодурства отбраковывает претенденток! Куда девались вечное ее хныканье, жалобы и заискивающее нытье!.. Генеральша, крепостница-помещица, Салтычиха — ни дать ни взять!.. Но Анфиса Власовна на собачьи выставки не ходила и правильно делала; там ее гегемония была пустым звуком, там Регина Адольфовна мигом поставила бы хамку на место — только бы подвела выщипанной подмалеванной бровью, только бы пальцем шевельнула подобострастной свите...

Глеб миновал с разгону и вторую старуху, ощутив странное облегчение, когда она осталась за спиной; путь в несколько шагов до дверей Нины всегда казался растянутым из-за этих недремлющих привратниц. «Здравствуй», — повторял он в упоении, наслаждаясь своим тенором, повлажневшим от слюны, клокотавшим в воздухе, ласкавшим барабанные перепонки; он прополаскивал его соком сухое от жары, пыльное горло, счастливый сбывшейся догадкой. Ну конечно же здесь он должен был услышать себя — где еще, если не здесь, среди стен, верных его эху, в узкой комнате, где на него с нежностью смотрели снизу темные, как у воробушка, преданные влюбленные глаза. Рядом с Глебом Нина всегда казалась особенно маленькой, остреньким подбородком, мягкостью, незащищенностью напоминая птенца. Ей не дала расправиться в полный рост война — обрушившаяся на пятилетнюю девочку без оглядки на возраст, оторвавшая во время бомбежки от матери, подкинувшая сперва в цыганский табор (она и сама смуглостью была похожа на цыганочку), а потом — в особый немецкий лагерь, где у детей брали кровь для раненых солдат. Одно счастье — до нее там просто не дошла очередь, каждый день безвозвратно поглощавшая других, — и Нина, казалось, до сих пор не переставала ощу-

щать это счастье, хотя жизнь и после ее не баловала. Через много лет после войны, кончая детдомовскую школу, она разыскала свою мать, уже тогда безнадежно прикованную к постели; теперь мать беззвучно лежала в соседней комнате. Глеб ее никогда не видел, лишь слабый шорох за стеной выдавал иногда присутствие там живого существа, и Нина тотчас спешила на этот шорох, который каждую минуту мог потребовать ее к себе. Она зарабатывала на дому перепечаткой и рисковала отлучаться лишь ненадолго по самым необходимым делам. Несколько лет назад Скворцов впервые принес ей рукопись; Нина удивила и насмешила его, приняв за чистую монету его пародии. «Мне очень нравятся у вас пейзажи, — сказала она, — ночной лес, река, лунные тени; я так давно этого не видела, и вдруг — прямо перед глазами». Это было особенно странно потому, что вкус у нее, как Глеб убедился потом, был природный — во всем, что не касалось его. Не сразу он догадался о происхождении этой слепоты, исключавшей чувство юмора. Привить ей иронический взгляд на себя и свое творчество Скворцову так и не удалось; впрочем, кто может знать, какие картины, звуки, шорохи, запахи и впрямь оживляло в ее мозгу созерцание мелких черных значков на белом бумажном поле, которые столько лет представляли этой маленькой женщине весь огромный желанный мир; ведь не одним их сочетанием определяется волшебство чтения, но и способностью читающего, который может быть куда гениальней автора. Глеб отозвался на ее чувство, как ему казалось тогда, из невольной жалости; но довольно скоро он поймал себя на обратном; его самого тянуло к Нине в наиболее смутные и паскудные минуты жизни. Эта похожая на школьницу тонкая женщина с забавными детскими косичками и белой ниточкой пробора действовала на него просветляюще. Возможно, потому, что напоминала: тебе ли жаловаться? Нет, скудости своей жизни и недостатка денег она как будто не замечала, была легка, улыбчива, конфузила иной раз Скворцова недешевыми подарками — вообще непонятно смущала его. Может, именно потому он избегал бывать у Нины слишком часто — но к ней же и возвращался и ей единственной не оставил на память безделушечного лапотка.

— Твои соседки вызывают у меня каждый раз мурашки по спине, — сказал Глеб, целуя Нину; лишь сейчас он окончательно остановил взятый с улицы разбег, опомнил-

ся и отдышался. — А кто это к тебе все ходит и ходит?

— Кроме тебя, никто. Я весь месяц перепечатаваю одну диссертацию по биологии. Очень медленно; все хочется понять, что там написано. Настоящие машинистки так не делают.

— А ты что, не настоящая?

— Конечно нет.

— Кто же ты?

— Не знаю, — засмеялась Нина. — Просто — человек. Она была сейчас в черных брючках, полосатой безрукавке; косички-рожки перевязаны зелеными ленточками — очень мила.

— Редкая возможность, — хмыкнул Скворцов, — не ставить перед своей подписью никакого титула. Просто: Нина, человек. Я знал одного профессора, он сдавал в поликлинику анализ мочи и подписывал на бумажке: профессор такой-то.

— Голодранцы, а тоже титул им подавай, — отчетливо раздался из пространства презрительный голос баронессы.

Скворцов вздрогнул и отпрянул от Нины. Хотя он уже знал секрет этой квартиры, но всегда забывал про него, и диковинная акустика, способная посрамить знаменитую древнекитайскую «Стену эха», каждый раз заставляла его врасплох. Кладка между соседними комнатами была здесь звуконепроницаемой, но единственное место у газовой плиты в кухне и самая середина Нининой комнаты были словно соединены причудливой звуковой дугой, и голоса доходили по ней явственно, даже как будто усиленно.

— Руками-то работать не хочется, — подтвердила Анфиса Власовна. — Все бы на трудящемся горбу ездить. Вот вы, Регина Адольфовна, опять давеча картошку не полили. В такую-то засуху. Небось привыкли раньше, чтоб все за вас слуги делали?..

В узкой комнате уклониться от зоны звуков можно было лишь у самых стен; поэтому Скворцов поспешил сесть на диван, плотнее прижался к спинке и привлек к себе Нину.

— Ты сама не боишься этих колдуний? — произнес он тихо, но не шепотом, чтобы не оставлять горло без сока своего голоса; как ни странно, он и забыл про жажду, голода же весь день вовсе не чувствовал. О недавнем наважде-нии не хотелось вспоминать, да вслух почему-то казалось и стыдно; инстинкт подсказывал ему, что это лучше держать при себе.



— Ну что ты,— сказала Нина.— Безобидные несчастные старухи.

— Тебе все хороши. Прямо житие пиши,— усмехнулся Скворцов.— Я, кстати, сегодня беседовал с одной очаровательной христианочкой. Цветущая современная женщина показывала мне пятнистые картины и толковала о современном апокалипсисе, о трагизме нашего века и об искуплении Христовом.

— Почему ты говоришь это так раздраженно?

— Потому что не верю я, ни на вот столечко не верю всем этим новоявленным откровениям. Как Станиславский: не верю. Не может их так вдруг озарить. С чего! Какой их потряс столп огненный? Тут в лучшем случае соблазн ума — одним махом превзойти все проблемы. Отмычка для всех задач, универсальная шпаргалка, чужая подсказка. Не сами же они это выстрадали. Знакомая история. Вот если б я сам впервые открыл эти идеи, назвал, проник — тогда б они мне подошли. А так — гордость не позволяет. Или вкус. Или чувство юмора.

— Всего не придумаешь сам.

— Тут ты попала в самую точку. Возможно, ничего нового вообще уже не придумаешь. Сплошное раздолье для пародии. А в этой области я слишком натаскан, чтобы воспринимать всерьез слова о трагизме века и современном апокалипсисе.

— Почему же,— тихо произнесла Нина.— Ведь действительно было столько страшного. Каждый день об этом нельзя думать, и не вместишь всего, не представишь, но все-таки... Мы ведь с тобой по возрасту пережили войну. А эти две старухи и того больше. Они, конечно, выглядят смешными и все стараются воевать друг с другом, но ведь досталось им от жизни одинаково — и не в шутку. У обеих никого на свете не осталось, сыновья в войну погибли, мужья еще раньше. Даже пенсии до копейки одинаковые.

— Во-первых, мой муж не погиб,— резко опровергла из пространства Анфиса Власовна — и Скворцов заметил, что, не выдержав неудобной позы, они с Ниной давно отслонились от стены.— А во-вторых, он посмертно реабилитирован. Нечего сравнивать.

— Когда заболеют, они ухаживают друг за дружкой. Врозь бы они и недели не выдержали.

— Почему же не сравнивать? — обиженно заныл голос баронессы.— Меня, если хотите знать, саму приговорили

к смертной казни за то, что я была дворянка и носила парижские туфельки тридцать второго размера. Как сейчас помню...

— Ой, что ж я сию! — спохватилась вдруг Нина. — Ты ведь пришел голодный.

— Нет, есть я не хочу. Попить разве.

— У меня есть только молоко.

— Молоко у нас нынче порошковое, — предупредил голос Анфисы Власовны.

— Спасибо, это ничего, — ответила в пространство Нина, наполняя стакан.

— ...так вот, я сидела в тюрьме, передо мной решетка... это сейчас у меня руки обмороженные и суставной ревматизм, а тогда у меня были тонкие длинные пальцы. Я просунула их через решетку, открыла окно и увидела перед собой главного палача. Он посмотрел на меня и опустил взгляд. Он не смог выдержать моего взгляда. Молча открыл дверь тюрьмы и выпустил меня. Все другие приговоренные к смертной казни были поражены.

— Налей еще, — попросил Скворцов, отдавая пустой стакан Нине. — Давно не пил молока. Хорошо... ишь ты. И больше не хлопочи, посиди лучше со мной. С тобой все видишь немного иначе. Даже этих колдуний. Настроить бы так взгляд насовсем. Только кто из нас дальтоник? Думаешь, очень весело во всем распознавать ухмылку, анекдот, пародию, читать задушевные стихи — и не очаровываться, потому что и там полно пищи для твоих зубов? А сам попробуй выскажись! Хочешь, выдам тебе секрет? Я не всегда умышленно пересмешничаю. Иногда я начинаю писать всерьез — и даже очень часто начинаю. Но все произнесенное всерьез так уязвимо. Нет истины, которой нельзя было бы состроить рожу; а истины стеснительны, они краснеют от усмешки — лучше бы им не показываться. Одна ирония ничего не боится, и единственный неуязвимый стиль — пародия. Я очень скоро начинаю на себя смотреть со стороны и сам себе подсвистывать. А под конец, глядишь, и вовсе зарезвлюсь. Так получались самые блестящие и тонкие мои штучки. Можно бы, конечно, не выдавать себя, сохранить до конца убежденный вид, и даже почти искренне. Многие так и делают; со стороны трудно разобратся. Но я сам слишком честен для этого. Представь себе, слишком честен. Да ты и так мне веришь. А вот один бородатый умник разоблачил вчера сокровенную мою надежду. Раньше меня самого. Сейчас я вспоминаю:

кажется, он прав. Вдруг он прав, а? Единожды состроивший рожу — кто тебе без нее поверит? Сам-то хоть — поверишь? Опять разве что ты.

Он взглянул на Нину, в ее глаза с огромными зрачками, внимательно и нежно смотревшие на него, — понимала ли она, о чем он говорит?

— Слушай, отчего мы до сих пор не поженились? — сказал вдруг Глеб. — Ты была бы мне идеальной поправкой. Может, все и стало бы на свои места? Поженимся давай, а?

— Не надо об этом, — попросила она.

— Почему не надо?

Нина промолчала.

— Ну ладно, ладно, — пробормотал Скворцов и привлек ее к себе поближе, еще поближе, чтобы полнее ощутить власть над этим маленьким тонким телом, таким покорным в его руках, над этой умной самостоятельной девочкой, которая никак не оспаривала его превосходства, но оставалась сама по себе, в то время как он рядом с ней необъяснимо менялся. В его тяготение к ней то и дело примешивался недобрый, самолюбивый, мстительный оттенок: вот ведь ты как умна, как мила, как независима, а подчинишься мне, какому ни есть? — подчинишься, и как еще... вот ведь как... вот ведь как; ведь удивительно, что я нашел тебя в этой щели — экспериментальное существо, выращенное на питательном бульоне детских воспоминаний, книг и музыки из грошовой репродуктора; ну скажи хоть, что тебе хорошо со мной, что ты сейчас счастлива и разрыдаешься, когда я уйду... вот то-то же... то-то же... то-то же... а я промолчу в ответ...

— Легли уже, — прокомментировал из кухни голос Анфисы Власовны.

— Ой, боже мой, ну зачем вы такие ужасы! — испуганно заныла баронесса. — Мне и так под утро снились одни кошмары, одни кошмары!

— Ну-ка, ну-ка, — насторожилась Анфиса Власовна, — какие такие кошмары?

— Я разве сказала кошмары?

— А то кто же?

— И вообще я не обязана отчитываться вам в своих снах, — попробовала сопротивляться баронесса.

— Как это не обязаны? — даже удивилась Анфиса Власовна. — Особенно если говорите о кошмарах.

— Не такие уж и кошмары. Мне снилось, что я разрезаю котлету ножом и никак не могу разрезать. Нож тупой, вы знаете, какие сейчас ножи. А главный-то кошмар, что я знаю: котлеты ножом не режут. И мне так стыдно, так стыдно!..

За окном давно была глубокая ночь, но голоса старух бессонно бодрствовали, и Скворцов уже этому не удивлялся.

— Знаешь, здесь из окна видна всегда единственная звезда, — произнесла Нина. — Больше не помещается. И без созвездий трудно догадаться какая. Да я их все равно не знаю. Помню с детства только одну, яркую-яркую, мне показал ее один старик в таборе и назвал Сантела. Почему-то мне кажется, что это она и есть. Я очень запомнила ту ночь, такую черную, что чернота была как жидкость; казалось, я плаваю в ней. И я тогда впервые открыла для себя, что небо — не где-то отдельно вверху, как рисуют дети, что оно начинается вокруг. Мы ходим среди него, прикасаемся, раздвигаем своим телом. Кругом была степь, и звезды плавали совсем недалеко; если б было дерево повыше, можно б было залезть и дотронуться... Я все-таки много успела увидеть, — улыбнулась она в темноте. — Только подумай, что некоторые никогда и не видели такого неба — во всю ширь, от горизонта до горизонта. А я бегу утром в магазин мимо тесных домов — но уже помню, что хожу среди неба.

— Верно, в городе можно забыть, что бывает такое, — хмыкнул Глеб. Недобрая минута прошла, точно лопнул и рассосался гнойник; ему было хорошо лежать рядом с Ниной и глядеть на одинокую цыганскую звезду Сантелу. — Я ведь тоже, помню, ездил когда-то в ночное. Картошку в золе пекли.

— А я помню, как на костре пекли мамалыгу с салом.

— Ишь... с салом. Вы, я смотрю, неплохо там питались. А из лебеды суп едала?

— Из крапивы ела.

— Суп еще хорош из заячьей капусты, — заметил голос Анфисы Власовны.

— И из черепахи, — вставила баронесса.

— Из крапивы и хлеб неплохой.

— А лепешки желудевые?

— И кофе, — вставила баронесса.

— Колобашки из куглины, — наперебой вспоминали

они вчетвером, вдохновленные темой, внезапно общей и бесспорной для всех.

— Пареная каша из дягиля.

— И из крапивы.

— Про крапиву уже говорили, Регина Адольфовна.

— Вы всегда не даете мне слова сказать, — оскорбленно заныла баронесса. — Как будто вы одни голодали.

— А вы, что ли, голодали?

— Да я, если хотите знать, однажды неделю ничего не ела. Пришел врач, идиот, прописал мне для аппетита мышьяк и горчишники по пять минут. Но я еще с ума не сошла, чтобы есть мышьяк, я была в здравом уме и твердой памяти. Я ему сказала: доктор, мне от голода лучше всего помогает колбаса. И шоколадные конфеты. Или хотя бы безе...

— Тс-с, — сказал вдруг голос Анфисы Власовны, и все замолчали.

— Кажется, мама? — прислушалась Нина.

— Показалось, — дала отбой старуха. — Так вы что-то хотели сказать, Регина Адольфовна?

— Я? — испугалась баронесса. — Это вы что-то хотели сказать.

— Не помню. А на чем мы остановились?

— На безе.

— Да. Моя кухарка прекрасно делала безе. У меня были две кухарки, белая и черная. Очень порядочные женщины, сейчас таких нет. И они так пекли безе — я была от него без ума.

— Позвольте, Анфиса Власовна, — робко вставила баронесса, — про безе — это должны быть мои слова.

— Почему это ваши?

— Да потому что мои!

— Да почему это ваши?

— Да потому что мои! Вы всегда все присваиваете, Анфиса Власовна, а сами хоть знаете, что такое безе?

— Почему ж это не знаю?

— Ну что, скажите, что? Может, думаете, это тот, который написал оперу «Кармен»?

Тут раздался странный взвизгивающий звук, и Скворцов не сразу понял, что это смеется маленький шарло; смех его был похож на долгий колесный скрип. Вслед за ним захохотала баронесса — залиvistым торжествующим хохотом; смех ее перемежался с карличьим повизгиваньем

песика, они заражались друг от друга весельем и никак не могли остановиться.

— Регина Адольфовна,— ледяным голосом попыталась прервать их Анфиса Власовна, но вызвала лишь еще больший приступ хохота.— Регина Адольфовна,— вынуждена была она повысить голос.— Регина Адольфовна,— в третий раз повторила она,— кто у нас гегемон?

Баронесса и песик разом оборвали смех.

— Я не понимаю, что вы здесь говорите,— попыталась увернуться Регина Адольфовна, но, на ее счастье, соседка опять зацыкала:

— Тс-с.

Теперь и Глеб услышал за стеной шорох. Нина быстро накинула халатик и подалась туда.

— Я, кажется, вас перебила,— сказала Анфиса Власовна.

— Это я вас перебила. Вы уж простите.

— Нет, это уж вы простите.

— Вы просто забыли. Вы все такие, всегда забываете, что вам невыгодно.

— Кто это — мы все? — насторожилась Анфиса Власовна.

— Я имею в виду вас,— смело увильнула баронесса.— Сами же только что сказали, что были без памяти.

— Это совсем в другом смысле. Без памяти в смысле: без ума.

— И без ума, и без памяти.

— Без памяти от безе. Ну и глупы же вы, Регина Адольфовна!

— Мало ли от чего! Не надо было есть, чего не знаете,— и баронесса опять зашлась долгим пронзительным смехом.

Песик тотчас поддержал ее своим скрипучим повизгиванием, и захлебывающийся, волнами накатывающий дуэт этот был так заразителен, что сама Анфиса Власовна вдруг не выдержала, включилась на низкой сдержанной ноте, она смеялась, не разжимая губ, как иногда смеются старухи и некому теперь было остановить этого заведенного клоунского веселья...

Нина все не шла. За стеной из-за хохота старух ничего не было слышно. «Может, там никого и нет,— подумал Глеб,— просто ветер шевельнул занавеску?» Мо-

жет, Нина просто выдумывает этот шорох, чтобы иметь возможность в любую минуту укрыться, обособиться, выскользнуть из рук его, Глеба? Он не мог воспринимать этот невидимый бесплотный шорох как живое существо, тем более как мать Нины. Да и она сама — воспринимала ли? Она почти и не пожила с ней по-настоящему, это для нее условность, символ, который, однако, связывал по рукам и ногам, приковывал к узкой щели комнаты, позволял видеть в небе единственную бедную звезду. Неужели она и это способна любить, неужели она вправду знала о жизни что-то большее, чем он, — потому что за тем пологом, что прикрывал вход в комнату, бывала совсем рядышком со смертью? Тяжкое знание, которого не пожелаешь нарочно, потому оно и дано немногим. «А вот возьму и сам загляну, — подумал вдруг он. — То-то будет занятно, если там окажется пусто...»

Он приподнялся на диване. Смех сразу оборвался.

— Уходит, — испуганно сказала баронесса.

— Нет еще, — возразила Анфиса Власовна.

За окном уже начинался ранний июльский рассвет. Звезда Сантела растворилась в воздухе и исчезла. «Давно я не смотрел на звезды, — усмехнулся про себя Скворцов. — Нина права, в городе не видишь небосвода. Так про все забудешь, потеряешься... немудрено, — догадался вдруг он. — Я ведь нездешний, я деревенский...» Он лишь сейчас почувствовал, как правильно сделал, не открыв перед Ниной вчерашнего. Она бы могла подумать, что теперь он и впрямь сам по себе не может. Так и будет прятаться среди этих стен, боясь выйти на улицу. Нашел убежище! Самому надо справляться. А еще твердит о гордости. Опоры захотелось... подпорки. После столького взятого на себя — расслабиться, размякнуть. Знаем мы эти истины, глаголемые устами младенцев и убогих. Разве ты так проста и неприхотлива по своему выбору? Судьба прихлопнула — и не двинешься. Потому и любишь, ничего не требуя. И жизнь для тебя проста. А повернись она к тебе иначе?..

Он неслышно оделся, подошел к пологу, закрывавшему проем в соседнюю комнату, дотронулся до него — но, сам не зная почему, отвел руку, повернулся и выскользнул в коридор. Чихнул игрушечный шарло, две старухи — будто и не ложились спать — глазели на Глеба Скворцова: в сумраке нищей двадцатисвечевой лампочки, способной лишь экономить электричество, лица их белели пятнами:

одно раздутое, круглое, с грубо намалеванным кокетливым ртом (когда она успела подкраситься?), с высокими дугами бровей и яблоками румян на щеках; другое тощее, строгое, с не знающими улыбки, прошитыми ниточкой губами — колдуньи-привратницы, стерегущие вход к принцессе и ее тайне.

— Теперь уходит, — сказала Анфиса Власовна из своего кресла.

— Ох, — вздохнула баронесса, — где бы и мне найти покровителя?

#### 4

*Мы подходим в этом кратком и предварительном очерке к ситуации, когда маску и роль выбирает не сам человек — они навязываются более фатально, безлико и жестко<sup>2</sup>. Формальное причисление к тому или иному разряду способно фантастически изменить личность: не только пристрастия, вкусы, речь, но, если угодно, и состав крови, вещество мозга, тела. Физиологический механизм этого явления до сих пор не вполне разгадан.*

*Именно здесь и возникает эффект, который автор предлагает назвать «парадокс фотографической декорации». Лицо индивидуума оказывается возможно вообще не принимать во внимание, на его месте допустима дыра; все наиболее существенное располагается вокруг нее. Эти декорации и выполняют основные функции маски: устрашать, вводить в заблуждение, обманывать судьбу и т. п.; они представляют, таким образом, наиболее уточненную ее модификацию. обстоятельный и оригинальный разбор этого парадокса составляет научную заслугу и предмет особой гордости автора, о чем более подробно будет сказано в основной части данного исследования.*

\* \* \*

Улицы еще не отошли после вчерашнего, асфальт сквозь подсохшую корочку спешил отдать воздуху остат-

---

<sup>1</sup> Автор пока оставляет в стороне вопрос о так называемых групповых или коллективных масках, которые из-за неподъемной тяжести носят одновременно несколько человек. Так, если верить Шурцу, у тайного союза матанибала в Меланезии употреблялась маска одновременно на восемьдесят — сто мужчин. Представить маску на тысячу и даже миллион человек — дело воображения или техники.



ки тепла, пока солнце за спинами домов опять наберет силу. Ровный звенящий гул пронизывал воздух — так верещит в проводах ток. Сухой скрип шагов отдавался в бессонных висках Скворцова, в запекшихся стенах, напоминая о неутоленной жажде; звуки множились, крошились под подошвой, рассыпались песком, колкой поземкой скребли мостовую. Этот скрип, хруп, скреб, этот лишенный музыки звон отдавался Скворцову во всех событиях последующих дней, но никогда потом не рождал такого чувства нереальности происходящего, воспаленного бессонницей видения. Во всем были пустота и легкость, близкие ясности, — как утром, когда у больного ненадолго спадает жар и шелушатся губы; пустота была в нем, и он видел себя внутри этой раскатистой пустоты, как в разреженном высокогорье, среди гигантских, но невесомых скорлупок зданий. Улицы от перекрестка сквозили на все четыре стороны — ни прохожего, ни машин, и на какой-то миг Глебу стало вдруг так не по себе, что потянуло вернуться, как ребенка, ушедшего из-под надежного крова. Нет... Он же помнил, что неспроста ушел... Эти улицы, эти дома, это зияние и сухость надо заполнить, смягчить живым голосом, но попробуй хоть завопи: «Есть ли в поле жив человек?»... Только и это уже было — не твое... хоть засмейся...

Хруст и шебуршание усилились до скрежета: он вступил в подземный переход. Звуки, одурелые, стукались головами о тесные стены. Как раз для Скворцова распахнулись двери метро, пропуская на первый поезд. Размноженный топот создавал впечатление идущей толпы, хотя Скворцов, кажется, шел один. Нет, откуда-то спереди слышался голос, отчетливый в громком пространстве: «На вокзал в эту сторону?» — «Да вон, куда поезд подходит». Голос взмыл прозрачным облачком под своды станции, и Глеб вдруг узнал его: это был его собственный голос, но как бы записанный на пленку. Скворцову приходилось слышать себя таким: чуть усиленно, с механическим, ламповым привкусом; впрочем, дело тут могло быть в акустике пустого подземелья. Сердце странно вздрогнуло. Глеб кинулся вперед, но двери поданного вагона уже собрались закрываться, и он едва успел втиснуться между створок. Передний вагон был виден сквозь стекло, Скворцов припал к нему горящим лбом. Совсем близко сидели трое мужиков, явно приезжих, плохо выбритых, в мятых пиджаках, с мешками у ног,

с искореженными черными пальцами. «Неужели кто-то из них? — думал Глеб. — А почему это меня так поразило? Даже сердце до сих пор ноет». Услышанный голос явственно стоял в ушах — и чем дальше, тем больше Глеб чувствовал, что не ошибся, всего минуту назад он бы и вспомнить не мог этот легкий тенор, вновь потерявшийся за пределами Нининой комнаты. Чего только не взбредет, усмехнулся он, прижимая лоб к новому, прохладному участку стекла; дрожь его волнующе передавалась телу. А вдруг один из них просто мой родственник. Я ведь сам мужик, хоть забыл об этом. Меня мать родила в овине. Давно пора бы вспомнить... Он едва дождался станции, перебежал в передний вагон и присоединился к мужикам. Те потеснились с некоторым недоумением, поскольку все места вокруг были пусты. Нарочито получилось, отметил Скворцов, впервые не чувствуя себя естественным со встречными. Зачем-то он решил прикинуться малость пьяным.

— Откуда, мужики? — спросил он, стараясь окать по сильнее, но совершенно не слыша за грохотом тоннеля своего голоса.

Те тоже не услышали, даже не шевельнулись в ответ. Пиджаки их пахли чем-то очень знакомым, исчерна загорелые лица казались старше возраста; они сидели рядом с ним отчужденно, как существа другой породы, как негры, что ли, только язык тот же. И то как сказать.

— Откуда, говорю? — выдохнул он так же беззвучно в самое ухо ближнему, пожилому.

Тот отпрянул, обернулся к Скворцову, дотронулся до уха пальцем.

— Извини, папаша, — сказал Глеб. — В такой дробилке сам себя не слышу.

Второй, в куцей кепочке, тоже смотрел, не понимая, потом что-то спросил у соседа жестами глухонемых, и Скворцов, как ни странно, разобрал: «Чего он?» — «Да пьяный вроде», — так же на быстрых пальцах, ответил пожилой. Третий, дальний, вовсе не шевельнулся. Господи, с тоской догадался Глеб; тоскливей всего было, что он этого будто и ожидал. Где-то даже писалось, почему должно быть так. В какой-то классической драме... Но откуда тогда голос? Не дурачат ли они его, чтобы отделаться от чужака? Кто он им?.. В черном стекле напротив его белая рубашка и светлые волосы отражались рядом с ними, как негатив. Грохот набирал силу, нераспутанная

музыка все напряженнее билась в нем. Отражения мужиков перекидывались безмолвными речами, быстрые разряды сновали меж их одухотворенных пальцев. Меньше всего Глеб Скворцов удивлялся, что понимал их, неосторожное соседство сообщило ему и этот нежеланный дар, он сам безмолвствовал, как они. Они скользили по бесконечной черноте, плоские, бесплотные, пересекаемые рядами огней. Сколько уже их несло так? Давно, не вспомнить... все быстрее и быстрее, без пейзажа за окнами, в грохоте и суете. Боже, какой безоглядный гон!.. В трубу, в трубу, локтями проталкиваясь, головой о воздух, сквозь верещанье, лязг и скрежет, сквозь нерасслышанный шепот, промчавшийся крик, захлебнувшееся журчанье, застрявшие слова, сквозь тьму голосов и звуков, расчлененных, как годами, равномерным, равнодушным перестуком...

Скворцов открыл глаза. Оказалось, он задремал. Мужиков уже не было рядом... впрочем, лишь двух; третий, крайний, оставался сидеть. Он был рыж, небрит, на коленях держал кепочку, но у сапог лежал не мешок, а тугой магазинный рюкзак, и вместо пиджака была туристская штормовка — по виду вроде бы рыбак, из тех, что с вечера разъезжаются по московским водохранилищам; только и удочек при нем было не видать. Между Глебом и рыжим сидели теперь две женщины, поэтому Скворцов решил повременить с разговором — в нем возобновилась надежда, такая же вздорная, как и раньше. Рыжий вышел на Комсомольской, уверенно направился к Ярославскому вокзалу, миновал платформы пригородных электричек и прошел к стоявшему на первом пути поезду Москва — Соликамск. На этом именно поезде без малого двадцать пять лет назад ехал Глеб Скворцов из своего Сареева в Москву. Без малого четверть века. И с тех пор, объездив полстраны, в родных местах ни разу не побывал. Мудрено ли и голос природный забыть? Мысль была так очевидна, что Скворцову казалось: именно она и пробивалась вчера, когда он вышагивал по одуревшим от жары улицам и потом вспоминал с Ниной небо в ночном и глинистый хлеб, на капустных листьях печенный. Мало-мальски близких родственников в Сарееве у него небось и не осталось, но дальние хоть найдутся, там все — его родня, там рядом — истоки, так он вспомнит себя хотя бы отраженно. Скворцов оставил рыжего у тринадцатого вагона и кинулся в вокзал, мимо желтых

эмпээсовских скамеек, уже не прежних, египетски-тяжелых, а легких, гнутой фанеры, мимо узлов, чемоданов и авосек с бесценными московскими булками; вечный вокзальный запах ощутил был слабее, чем прежде, но по составу все тот же; запах невымытых с дороги тел, приезжих мужиков, запах туалета и — непонятно откуда — угольной гари. Ах, Антонина Михайловна, Антонина Михайловна, усмехнулся воспоминанию Скворцов. Вдохновение вновь вернулось к нему, он протиснулся мимо очереди к кассе («На отходящий, граждане, на соликамский, ей-богу») — да, да, прямо вот так, в белой рубашке, без пиджака и налегке, благо в кармане был нерастроченный гонорар. Билеты оставались только в купейный вагон — хрен с ним, в купейный так в купейный. Как хорошо стало от легкости, от ощущения авантюры, свободы, надежды! Поезд уже начал разгон, когда Глеб Скворцов вбежал на перрон — навстречу носильщикам с пустыми тележками: «Такса за одно место 30 копеек», мимо помахивающих платочками женщин, мимо молоденькой проводницы — в вагонную дверь — вперед, на поиски себя самого!

— Очень приятно, — компанейски подвинулся рыжий, — голос у него был мягкий, выговор слегка грасирующий, но Глеб Скворцов даже не огорчился обманутому ожиданию — теперь это было уже не так важно, хотя ради этого рыжего он сразу поспешил в тринадцатый вагон, не заботясь о своем купе.

Общий вагон с его оживленным шумом и запахом постельного белья был ему сейчас куда более мил. Слышалась гитара и вразнобой поющие голоса; крайнее отделение было завешено простыней: за ней женщина кормила грудью.

— Сеня Шагал, — продолжал знакомство рыжий. — Так меня зовут. Знаете Шагала? Знаменитый французский художник. Ну, до чего приятно встретить человека интеллигентного. А то сразу начинаются смешки: куда, мол, ты, Сеня, шагал? — и в том же духе. Между прочим, я действительно его родственник. Внучатый племянник. Вот можете посмотреть, — он потянулся к рюкзаку, уже пристроенному на второй полке, достал из кармашка обернутую полиэтиленом фотографию прославленного парижского мэтра с русской надписью на обороте:

«Моему дорогому родственнику Сене». — Обратили внимание, — хохотнул рыжий: «родственник» через «и» пишет? Забыл, старикан, язык своего детства. Пардон, а вы, случаем, не физик? У меня, знаете, особое пристрастие к людям этой профессии. Сердечнейший народ. Я объездил все наши академгородки: Дубну, Обнинск, Черноголовку, в Новосибирск забирался. Договаривался везде об устройстве выставки дедовых работ. Физики, знаете, такие вещи любят, меня принимали как родного. Какие там шикарные гостиницы, какая публика интеллигентная! Вы бывали когда-нибудь? Лучшие эпизоды моих странствий. У нас, видите ли, в семье сохранились некоторые полотна, совершенно неизвестные искусствоведам. «Голова жеребенка», вы видели когда-нибудь? Даже не слышали. И никто не слышал. А также много других. Ну и, естественно, я всегда мог списаться с самим мэтром. Старик не прочь был бы приехать в матушку Россию. Но тут, вы сами понимаете, начинается область, нам неподвластная. И все летит кувырком. Но вспоминать об этом приятно. Вы не знаете, почему сейчас не строят новых академгородков? Говорят, это экономически нецелесообразно. По-моему, глупость. Как же нецелесообразно? Ну, не академгородками одними жив человек. На свете есть много чего другого. Я даже предпочитаю разнообразие. Вот, перезимовал на юге, теперь на север. Я подвизался экскурсоводом в Алушке, у меня там хорошие знакомые. Это не так уж сложно, выучить небольшую шпаргалочку — и можно говорить. Потом под Одессой, в рыболовецком совхозе. Подзаработал немного, сел на самолет — и в столицу. Ухитрился, между прочим, без билета. Я по-всякому ездил без билета и сейчас — разумеется, но на самолете — первый раз.

Сеня засмеялся, довольный каким-то воспоминанием; он вообще говорил весело, словоохотливо; речь его была интеллигентной, закругленной. В своих грубых сапогах и кепочке, с крупным подбородком, заросшим золотисторыжей щетиной, широкими плечами, говорившими о физической силе, он производил впечатление и явно знал об этом.

— Без разнообразия не может быть достойной жизни — это мое глубокое убеждение. Знаете, у Маркса где-то написано, что человек будущего не должен будет постоянно закрепощаться какой-то одной узкой областью жизни. Ему положено испытать и умственный труд, —

я цитирую, — и физический, свободно заниматься разными видами деятельности. Общество, конечно, регулирует производство и потребности, но каждый должен иметь возможность сегодня делать одно, завтра другое, утром ловить рыбу, днем работать грузчиком, вечером заняться искусством — не становясь при этом ни рыбаком, ни грузчиком, ни искусствоведам. Ценность не в этом, понимаете? Главное — быть человеком.

— Просто человеком? — удовлетворенно засмеялся Скворцов.

— Просто человеком. В этом суть будущей свободы. Так, может, я уже и живу в будущем, а? Это прекрасно? Встречаешь людей, видишь разные места, слышишь разговоры, узнаешь массу интересного. И в каждом месте я — новый человек. Только что я был рыбаком — по-настоящему, не думайте. И работал с искренним удовольствием. Я не хиппи, хотя кое-что в их философии заслуживает уважения. В чем я с ними расхожусь — это в отношении к труду. Обратите внимание, у меня настоящие мозоли. Вот потрогайте. Особенно вон тут. А? Но для меня это не самоцель, я не хочу себя закрепить трудом. Больше всего я люблю дорогу, промежуточное состояние. Поезд ни с чем не связан, не врастает в землю, не пускает корней. Его колеса вольно движутся по рельсам — слышите эту музыку? Превосходно! — Сеня откинулся к стене, обхватив колено руками. — Бывало, вся жизнь моя в шарфе, лишь подан к посадке состав, — это Пастернак, вы знаете Пастернака? Здесь нет никаких вторичных связей, а значит, легче проявиться подлинной сущности человека, или, говоря философским языком, его экзистенции. Человечество на колесах — вот близкое к истине человечество. Свободное от собственности, корысти, от вынужденных обязанностей. Что мне нужно? Вот этот рюкзак. Омниа меа мекум порто — все мое ношу с собой, как говорили древние латиняне. Здесь у меня надувной матрас, надувная подушка, легонькая синтетическая палатка. Наш век, как никогда, дает возможность жить непривязанно. Временные изделия для временных нужд, легко носить, легко расстаться. Тут же и набор пластмассовой посуды, рубашка с галстуком. Побреюсь да переоденусь — вы меня не узнаете. Совершенно новый человек, никакого грима не надо. Еще у меня оригинальный комплект: надувной стульчик, сто-

лик и тумбочка. Даже надувные гантели для гимнастики...

— Менс сана ин корпоре сано, — опередил его латинское изречение Глеб Скворцов и предложил увлекательному попутчику продолжить разговор в вагоне-ресторане, которому как раз пора было открыться.

Шагал чиниться не стал, только попросил разрешения слегка переодеться и честно предупредил, что у него с собой нет ни рубля, все положено на аккредитив.

— Я слишком бесшабашно отношусь к деньгам, — объяснил он, уже сидя за столиком; без штормовки, в одной клетчатой ковбойке, в спортивных брюках и легких тапочках он был похож на туриста или студента-целинника. — Решил на этот раз уберечь себя от соблазна. А то сколько ни заработаю, все за несколько минут могу спустить в компании. Говорю без кокетства. Я открытый человек и непозволительно привязчив. Непозволительно для моего образа жизни. Поэтому так и люблю дорогу. Здесь встречи эфемерны, отношения легки, необязательны и говоришь свободно. Еще и еще раз — свобода. Дорога — это целая философия. А цель ее в гостях и дома — это Пастернак, вы знаете Пастернака? — все пережить и все пройти. Я люблю читать, хотя времени на это остается мало; меня больше привлекает живой разговор, непосредственные впечатления. В книгах я обычно читаю только предисловия. Между прочим, это не так мало, хорошее предисловие есть квинтэссенция содержания. Я могу беседовать с людьми любой профессии — и пойму. Вы, кстати, случайно не физик? Ах, я уже спрашивал. Меня интересует одна любопытная задачка. Существует так называемый парадокс Эйнштейна: о том, что для космонавта, который летит со скоростью, близкой к световой, время течет медленнее, чем для людей на земле. И, вернувшись, он теоретически может застать собственных детей стариками, сам оставшись молодым. Но это только теоретически, с такими скоростями не полетишь. Ладно, а при обычных скоростях этот парадокс, наверно, ведь тоже имеет силу? Только в микроскопических соотношениях. Или вот, скажем, летчик реактивного самолета — летает на сверхзвуковых скоростях всю жизнь; так на таких-то скоростях за всю-то жизнь может он налетать столько, чтобы хоть на денечек оказаться моложе тех, кто никуда не двигается? Вот ведь черт возьми!..

...Они пили пиво с Сеней Шагалом, внучатым племянником великого живописца; с обычной легкостью тот позволил угостить себя обедом, продолжая взамен щедро повествовать о своих достойных интереса приключениях и делиться не менее любопытными мыслями, а потом посидели еще, и каждое слово разбитного путешественника, как доказательство от противного, убеждало Глеба Скворцова в правильности взятого направления. Распрощались, когда пора проверки билетов в вагонах наверняка миновала; Глеб давно понял, что для его спутника это был один из привычных способов укрываться от ревизоров. В купе Скворцов так и не пошел; даже спать после бессонной ночи не хотелось — так были взведены нервы; остаток пути он простоял в тамбуре, глядя в замызганное окошко на поля, перелески, деревни — неотличимые от подмосковных, но уже чем-то роднее, ближе...

Приехал он еще засветло, но последний автобус на Сареево уже ушел от станции час назад. Вздернутого настроения Скворцова это, однако, не сбilo. Остановиться он не мог, нетерпеливый, с утра взятый разгон потянул его пешком сквозь город и дальше вдоль озера, по старинному тракту, который он угадал, не спрашивая, как угадывают путь домой без дороги голуби и пчелы. В лесу Глеб снял полуботинки, связал их шнурками, запихал вглубь носки, повесил через плечо и, закатав штанины, пошел босиком по теплой ласковой земле. Звонкий воздух был наполнен вечерней перекличкой птиц, стрекотом насекомых и даже как будто звоном колокольчиков. Нет, колокольчики ему не почудились, скоро звон их стал совсем явствен. Из-за поворота появилась повозка, запряженная разукрашенной лошадью с бубенцами, за ней другая, третья. «Свадьба!» — восторженно понял Глеб, сторонясь на обочину; он готов был сейчас восторгаться всем, что ни встретит. Лошади бежали не шибко; передней правил чернобородый крепкий мужик с вышитым полотенцем через плечо; рядом с ним, в расшитой русской рубахе, сидел, видно, жених. На других двух народу было больше; гармонист, похожий на встреченного утром глухонемого (неужели сегодня утром?), выводил путаные переливы. «Далеко?» — поинтересовался Глеб. Ответа он не понял, да и его вряд ли расслышали, но кто-то махнул рукой, приглашая с собой. Скворцов догнал последнюю повозку, ловко приспособился на ней задом. Неважно, куда они ехали, все равно хорошо.



Свадебный поезд скоро свернул на проселок, вкатил в деревню и остановился перед третьим с краю домом. Бубенцы вздрогнули последний раз и замолкли. Мужик с полотенцем через плечо первым взошел на крыльцо и потряс дверь, оказавшуюся запертой.

— Отчего скоба дрожит? — крикнул голос из-за двери.

— Оттого скоба дрожит, что дружка гóразно кричит! — лихо ответил чернобородый.

— А кто вы такие будете?

— Мы охотники-купцы, добры молодцы.

— А чем вы, купцы, торгуете, чего ищете? — любопытствовали из-за двери.

— Есть у нас барашек-бегун, а ищем мы ярочку. Ведь баран да ярочка — вековая парочка!..

Глеб Скворцов слушал, спешно зашнуровывая полуботинки. Не думал, не гадал: вот так с поезда — попасть на праздник, на свадьбу, да не какую-нибудь — народную, настоящую, сохранившуюся здесь, оказывается, во всей своей обрядовой театральности: с жениховским поездом, с дверьми, запертыми перед поезжанами, с многоопытным дружкой-сватом. Словно по заказу сбывался сон, никогда, впрочем, не виданный, лишь помечтавший ему. Ладное девичье пение слышалось из дома, а может, это у Скворцова в душе, в ушах звучал величавый хор, и трубы гремели все мощней, все торжественней, мешая мендельсоновский марш с родным «ай люли». В просторной горнице за накрытым столом сидели девушки в сарафанах, поезжанам надо было выкупать у них свадебные места, разгадывая загадки, — чернобородый дружка щелкал их легко, словно отрепетировал, лишь на последней чуть не споткнулся. «Что такое, — спросила юная озорница, — красное, деревянное, висит на стене и качается?» «Лапоть!» — вдруг догадался Глеб. «А почему красный?» — не понял дружка. «Покрасил», — объяснил Скворцов. «А почему на стене висит?» — «Кто же сейчас лапти на ногах носит?» — «А почему качается?» — продолжал еще спрашивать кто-то, но ответ был уже и так очевиден: раскачал, вот и качается. На время установилась шумная кутерьма, какая бывает в современных партитурах, когда каждый играет во что горазд, и кто-то уже передавал Скворцову стакан теплого, отдающего дегтем самогону. Глеб выпил, наполнил стакан снова и встал.

— Прошу слова, — откашлялся он. — Я прошу слова, —

повторил он мягким, чуть грассирующим голосом Сени Шагала, который был здесь менее всего уместен; поэтому Глеб старался посильней окать. — Милостивые государи и государыни, — сказал он для пробы; «о» слетело с уст, как кольца дыма с губ умелого курильщика. — Я среди вас гость. Но чувствую себя своим. Я ведь здешний, я родился в Сарееве, знаете? Даже сорт и букет вина зависит от почвы маленького участка, на котором был выращен виноград: сто метров в сторону — уже другое. Но, может, и для человека не совсем безразлично, вспоен ли он водой из колодца, реки, озера — или из водопроводной трубы, общей для миллионов; от единственной ли коровы его молоко или смешано из безликих удоев, да еще пастеризовано на индустриальном комбинате... Без малого четверть века отсутствовал... А ведь мать меня родила в овине... в настоящем овине. — Он начал немного сбиваться. — Мне есть куда прибить мемориальную доску с золочеными буквами. Не то что другим... которые рождаются в общих домах... Прекрасная, кстати, идея, надо будет написать: мемориальные доски на родильных домах. Чтоб гордились своими питомцами. И, может, даже соревновались: у кого больше окажется профессоров, примабалерин, генералов и лауреатов Нобелевской премии, с начислением очков по шкале престижа...

Слушал ли его кто-нибудь? Он сам себя едва слышал. В дальнем углу кто-то наяривал на баяне, кто-то пел, кто-то кричал «Горько!» — и при каждом таком возгласе растроганный дружка тянулся целовать Скворцова, натирая ему щеки бородой, жесткой, как капрон, и такой черной, что ее хотелось дернуть.

— Друг мой... друг мой, — горячо дышал он ему в ухо, — я ваш должник! Откуда вы появились? Из Москвы! Я так и подумал. Но почему же я вас там не встречал? Я сам москвич, но сюда приезжаю каждое лето. У меня тут актив, и аспирантов прихватываю. Я фольклорист, доцент, моя работа о доцерковном свадебном обряде наделала много шуму... Извините, одну минуточку...

И он опять кидался от Глеба в кутерьму, чтобы направить ее ход и дать суфлерские указания: спектакль еще продолжался; кто-то стрелял в избе из ружья («Чтобы отпугнуть злых духов, — пояснил доцент-дружка, возвращаясь к Скворцову, — пережиток языческих поверий»); молодых проводили сквозь строй, осыпая зерном и хмелем («Для богатства и счастья», — комментировал Глебу в ухо

ряженный с бородой Бригеллы). Вдруг возникло замешательство: на колени невесте требовалось посадить мальчика («в знак будущей плодовитости»), но из-за позднего часа ни одного под рукой не оказалось. «Мальчика, мальчика,— молил дружка, обводя всех выпученным загнанным взором,— что вы со мной делаете?» И Глеб Скворцов, откликаясь на этот взгляд, потянулся дополнить кадр, как когда-то в дядином ателье...

В голове у него шумело, хотя, увы, не от выпитого; вторая ночь без сна давала себя знать. Лишь выйдя на крыльцо, он впервые покачнулся; звездный небосвод заплясал, закружились в хороводе светила, и цыганская звезда Сантела была где-то среди них. Но попробуй пойми какая. Пьяному было куда лучше, чем трезвому. Глеб нетвердо сошел с крыльца и двинулся к лесу, в сторону Сареева. Странная штука был этот самогон: сам Скворцов чувствовал себя почти в порядке, а вот вокруг творилось что-то несуразное: лесная темнота рвалась клочками, подмигивала, из нее выделялись бесшумные плоские силуэты, обведенные светлым контуром. Один из них сел на низкую ветвь ели, забухал знакомым смехом: «Хо-хо, поздравляю с экспромтом. Насчет пастеризованного молока и прочего — это ты эффектно ввернул. Не ожидал». — «Сам не ожидал», — мрачно усмехнулся Скворцов. «А мне показалось, год назад ты это сочинял всерьез». — «Показалось», — сказал Скворцов. «И этого не можешь без отрыжки». — «Рад бы в рай, да невинность потеряна. Потеряна, увы. Померещилось, да видно, не то. Не для меня, во всяком случае». — «И что дальше?» — «Мало ли... Думаешь, у меня больше ничего не найдется? Вон сколько понаписано... пожалуйста».

Глеб достал из заднего кармана два скомканных листа, который накануне читал Шерстобитову, да так и забыл в брюках. Он развернул их и, держа перед собой на вытянутых руках, стал на ходу читать вслух в темноте:

— *«Остановимся подробнее еще на одной разновидности масок: охотничьих. Первоначально это были маски звериные, они служили охотникам для того, чтобы незаметно приблизиться к стаду животных, по возможности втереться в него, а затем поразить добычу с близкого расстояния. Движения охотника были при этом так естественны, что даже после гибели первого своего сородича животные не замечали пришельца. Он отбегал на*

*некоторое расстояние вместе со стадом и нацеливался на следующую жертву».*

Тень захохотала басом, захлопала крыльями и грузно взлетела. Глеб Скворцов споткнулся на ходу, выронив бумаги. Наклонился подобрать их; листы смутно белели в темноте, не давались в руки: стоило взять один, как другой падал. Наконец он справился, крепко зажал их в кулаке и, обессиленный, сел на землю спиной к березе. Звезды сочувственно спустились, замерцали вокруг. «Ничего, все-таки доберусь... справлюсь», — неопределенно думал Скворцов, задремывая. Ему снился теплый огонек вдали, оказавшийся вскоре кузницей; полуголый кузнец обернулся к Глебу от наковальни. «Кузнец, кузнец, скуй мне новый голос!» — обрадованно догадался во сне Скворцов. Кузнец смотрел на него и улыбался доброжелательной улыбкой давешнего глухонемого. «Скуй, говорю, голос», — показал Скворцов на пальцах. Кузнец понятиливо кивнул, протянул к Глебу руку и провел по щеке чем-то теплым и влажным... «Что это он?» — изумился Глеб — и проснулся. Он сидел на лесной поляне спиной к березе; в предрассветных сумерках перед ним стоял козленок с белой шерсткой, лизал языком ему щеку.

— Ты-то здесь откуда? — сказал Скворцов. — В лесу ночью волки съедят. Соображаешь? Или потеряла тебя хозяйка?

Козленок было отшатнулся, потом уставился на Глеба любопытными детскими глазами. У него было личико худенького, не по летам развитого мальчика с влажными розовыми губами падшего херувима. На шее вместо веревки держалась выцветшая голубая лента.

— Нет, значит, Аленушки? — понимающе кивнул Глеб Скворцов. — Тяжел камень ко дну тянет, шелкова вода ноги спутала. Видишь оно как? Заколдовали, теперь выпутывайся. А ты думал. Пить хотелось, это я понимаю. Жажды не вытерпеть. Из какого попало копытца напьешься. Ну иди, Ванюша, сюда, я тебя научу, что делать. Иди, иди.

Малыш переступил к нему робким шажком.

— Когда, Ванюш, с тебя совсем соберутся шкуру спустить, ты попросись к воде кишочки прополоскать, понял? А сам замéкай: «Сестрица Аленушка, выплынь, выплынь на бережок»... ну и так далее. Небось сам эти сказки читал, когда был пацаном. Да мало ли что мы читали... Главное, песенку не забудь. Еще Аленушке столько пере-

терпеть, пока ты человеком станешь. Ну чего... чего тебе?

Козленок, совсем осмелев, тыкался мокрыми губами Глебу в ладонь, в колени.

— Нет у меня для тебя ничего, Ванюш. Уж ты извини. Это все бумажки. Вот... несъедобные... и читать не стоит.

Он расправил смятые в кулаке листки; вместо двух их оказалось у него три. Один был клочком газеты, и Глеб уже собрался его выбросить, когда различил в слабом свете крупные буквы оборванного заголовка: «МАСК». «Однако», — усмехнулся он совпадению, но между лопаток почему-то прошел холодок. Мелкий шрифт разбирался с трудом; Глеб протер глаза, с удивлением чувствуя тыльной стороной кисти, что они влажны. Это еще откуда, качнул он головой... Не хватало. Расслабился. Хорошо, что никто не видел... Что же это за «МАСК»? «Ярмарка в Дамаске»? «Заявление сенатора Маски»?.. По характеру набора можно было судить, что газета была местная, районная — должно быть, «Нечайская правда». Наконец взор прояснился; рассвет расходился быстро, как в театре под знаменитую увертюру Мусоргского. Глеб начинал разбирать:

«...коллекция бельгийского масочника, гораздо более бедная, составила экспозицию целого музея, она приносит доход городу, привлекая туристов. До чего же небрежно относимся мы к своим собственным талантам и даже — не побоимся этого слова — самородкам! Цезарь Слепцов живет совсем рядом, в полчаса езды от столицы. Он создал несколько сотен масок: портретов литературных героев, характерных типов, известных деятелей культуры. Это упрек нам всем, что о талантливом масочнике не знает, по существу, никто. Если вам случится проезжать мимо этой станции, не поленитесь сойти с электрички и заглянуть в скромный дом по Второй Первомайской, 16. Обещаю вам: не пожалеете...»

Глеб Скворцов читал адрес с бьющимся сердцем. Кто-то со мной забавляется, думал он. Ну-ну... Я не против. Похоже, я не совсем так повел свой «Этюд». Что ж, попробуем по-другому. Я все-таки щадил себя, а это не то. Надо уж до конца... вывернуться, шкуру ободрать... именно... но прорваться к несомненному. Больно будет — ничего. Зато сам. Я гордый человек... мне колокольчик на шею не надо. Я не из стада... я, может, сам из охотников.

Посмотрим, кто посмеется последним. До сих пор все была присказка, литературное предисловие. Будет вам и настоящий этюд. Вот только добраться.

Он встал, отряхнул ладони и колени, запихнул в задний карман обрывок газеты, остальные листки выбросил. Козленок смотрел на него снизу; восходящее солнце золотом обводило его рожки, в зрачках отражался прекрасный мир с маленьким перевернутым небом.

— А собственно, зачем тебе превращаться обратно в человека? — сказал Глеб Скворцов. — Ты и так очень похож. Зубки вон какие ровные, не болят никогда. В этом тоже что-то есть... ты подумай, а? Ванюш. А с Аленушкой, может, обойдется. Выйдет замуж, любить будет больше, чем братца. Жалеть, потому что будешь паинька. И травка всегда найдется. Подумай. А впрочем... пока...

Он потрепал малыша за рожками и зашагал к своему Сарееву — уже не чутьем только, а почти в самом деле узнавая дорогу: так узнаешь во сне местность, знакомую по другим снам. Казалось, он уже видел именно этот куст, эту березку, этот валун у дороги; неужели столько лет держалось в подспудных тайниках?.. Чем дальше он шел, тем сильнее становилось это ощущение, будто он приближался к цели. Новый день разгорался ярко, торжественно. Лес кончился, и перед Глебом Скворцовым открылся вид знакомого приозерного города, впереди дымилась труба завода, виднелись столбы электрической железной дороги. Это была та самая станция, с которой он вышел вчера вечером.

Нет, он не уловил в себе ни огорчения, ни досады; чувства были притуплены и заморожены, как при местном наркозе. Он принял случившееся как судьбу, еще раз основательнее отряхнулся и пошел на станцию покупать обратный билет.

## Часть вторая

### 1

Едва поднявшись от платформы на пригорок, Скворцов увидел на телеграфном столбе фотографическую бумажку с жирной черной стрелкой и пояснением: «К Цезарю». Надпись была выведена четкими чертежными буквами, какие употребляют в своих объявлениях зубные врачи и репетиторы, стрелка же была не прямая, а изогнутая посредине в виде кривошипа; Глеб понял смысл этого изгиба, когда, последовав по указанной дорожке, уперся в глухой забор и догадался обойти его справа. Стрелка изображала одновременно и нечто вроде плана. «Забота об экскурсантах», — усмехнулся про себя Скворцов. Скоро он достиг окраины дачного поселка и огляделся. Перед ним была развороченная экскаватором дорога с траншеями для труб, за ней начинался лесок. На дорогу выходил единственный забор; повалившись внутрь участка, он держался лишь подпираемый кустарником высотой больше человеческого роста. За кустарником не было видно ни дома, ни тем более номера, однако чутье подсказало Глебу: здесь. Он с трудом открыл скребущую по земле калитку и двинулся по узкому проходу между сплошных зарослей.

— Калитку закрывать надо, сквозняк ведь, — услышал он недовольный голос и вздрогнул — но не от неожиданности, а как раз напротив, оттого что узнал этот суховатый окающий тенорок с легким привкусом радиоламп — и оттого что почти ожидал его услышать.

У круглого садового стола стоял молодой человек небольшого роста, в очках, в поношенных джинсах и оранжево-зеленой полосатой безрукавке. В руках он держал пиджак и занят был тем, что с помощью носового платка брезгливо вычищал из вывернутых карманов яичный желток и раздавленную скорлупу. У молодого человека было прыщеватое лицо, низко на щеки спускались неопрят-

ные светлые бакенбарды, нос был мясист, рот крупный и нечетко очерченный, с постепенным переходом от розовой кожи к красноте губ, уши такие оттопыренные, что, казалось, дужки очков едва удерживаются за ними. На Глеба он не смотрел и, похоже, не подозревал о его существовании; лишь когда тот приблизился почти вплотную, испуганно вскинул голову.

— О, вы ко мне... простите, а я думал... это ветер открыл калитку,— с непонятной встревоженностью забормотал он.— Прошу простить, я иногда привык разговаривать... как бы сам с собой. Я тут живу один. Если вы насчет дачи, то здесь не сдаётся. Дом в аварийном состоянии... не разрешают. Да я и не сдаю. Меня самого скоро отсюда выселят...

Он продолжал говорить все еще как бы с испугом, водя взглядом где-то мимо лица Глеба и лишь изредка принимая его в поле зрения; глаза с красными веками казались нарисованными на стеклах его очков.

— Нет, я не насчет дачи,— успокоил его Скворцов.

— А насчет чего же?

— Вы Цезарь Слепцов, масочник?

— Как вы сказали?

— Простите, я употребил слово, которое вычитал в статье. Вы занимаетесь изготовлением масок?

— Да... то есть... а в какой статье вы это могли вычитать?

— О, вы, может быть, не знаете, что о вас написали. Я, правда, не берусь сказать точно, какая это газета, мне попался обрывочек... вот он...— Глеб достал из заднего кармана листок и с изумлением обнаружил, что это вовсе не газета, а страница его собственного этюда.— Постой, а где же газета,— забормотал он,— я ведь точно помню, что выбросил листки, а ее оставил... Неужели перепутал? — Ему на минуту стало неловко, это хлопанье по карманам напоминало избитую шутовскую инсценировку; простодушные глаза масочника смотрели на него с очков по-прежнему испуганно; полосатая безрукавка бросала на левую щеку оранжевый отсвет, а на правую — зеленый.

— Кто обо мне мог написать? — бормотал молодой человек в возрастающем волнении, то и дело как бы сглатывая слюну, отчего паузы в его быстрой речи не совпадали с законными точками.— Никто обо мне написать не мог. Я живу один, у меня никого. Не бывает, даже готовлю



себе сам. Видите, сегодня хотел пожарить себе яичницу, купил по дороге яйца и догадался. Положить в карман, только такой остолоп, как я, мог положить яйца. В карман.

— А я думал, к вам уже экскурсии ходят. У станции даже стрелочка с указателем: к Цезарю.

— Стрелочка? — глаза масочника совсем округлились: концентрические мишени посреди круглых стекол. — Это какое-то. Недоразумение, уверяю вас, я тут ни при чем, я первый раз слышу.

— Но показывает она сюда. И потом, адрес: Вторая Первомайская, 16, Цезарь Слепцов.

— Во-первых, это не Вторая Первомайская, а Вторая Гоголевская, во-вторых, нумерация теперь другая и, в-третьих, моя фамилия не Слепцов.

— Но вы Цезарь? — начиная терять терпение, спросил Глеб.

— А кто же еще? — немного даже обиделся масочник.

— Может, здесь рядом есть другой Цезарь? — предположил Скворцов.

— Рядом — не думаю. Цезарь — не такое уж распространенное. Имя. Да еще статья. Кто это мог постараться?.. — Он наморщил лоб, потом расправил его, сдвинул брови, поднял их вверх, энергично выпятил крупные губы, повертел ими влево-вправо и так же энергично поджал; казалось, в этих двигательных усилиях и осуществляется его мыслительный процесс. — Видите ли, я художник-самоучка, беру на дом работу в местном промкомбинате, раскрашиваю. Разные поделки, а на досуге. Занимаюсь масками, но об этом мало кто знает...

«Что он мне морочит голову?» — отчетливо подумал вдруг Скворцов и положил руку на горячее оранжевое плечо молодого человека.

— Цезарь, — сказал он, глядя ему прямо в очки. — Не будем вдаваться в мелочи. Я хотел бы посмотреть ваши маски. Если можно.

Масочник остановил разбег своей речи и выдержал паузу, потребную для торможения.

— Конечно, — сказал он совсем иным тоном, как будто обрадовавшись простоте решения. — Какой разговор!

Они прошли по узкой аллее меж одичавших кустов — словно по просеке в джунглях, разметывая из-под ног лягушек, крошечных, как кузнечики, и Скворцов наконец

увидел сам дом — причудливую дачную постройку с флюгерами, башенками и флигелечками второго этажа, с облупившейся зеленой краской, из-под которой выглядывал такой же облупившийся слой оранжевой и еще ниже — серой. Дом накренился влево и был подперт слегой, такой тонкой, что проходить с этой стороны под стеной было все-таки боязно. Другая жердь поддерживала выступающий фонарик-эркер с разбитыми стеклами — этот без подпорки упал бы наверняка. Водосточные трубы надломились на сочленениях, из них росла трава. У крыльца стояла собачья будка, такая же ветхая, как дом, из нее вышел огненно-красный петух, поскреб лапой землю на пути Скворцова — и замер.

— Асмодей, на место! — строгим тоном дрессировщика приказал Цезарь. — На место, я говорю! — повторил он еще раз. Петух не шевельнулся, и масочник отодвинул его в сторону ногой, обутой в крепкий туристский башмак с толстенной, как копыто, подошвой. — Наша собачка пропала в прошлом месяце, — пояснил он, суетсяь вокруг Глеба и жестами все время показывая ему дорогу, хотя сбиться на однозначной просеке было никак невозможно; как это бывает с молчальниками, живущими уединенно, он при госте расходился все больше; очки его оживленно поблескивали. — И вот этот петух — я его зову Асмодей — занял ее будку. Удивительный факт, правда? Я хотел в газету. Написать вопрос, как это объяснить. Вылитый Асмодей, как вам кажется, особенно когда злится?

— Не знаю, не видал, — уклончиво ответил Скворцов.

— Я пытаюсь немного дрессировать редких животных. Даже насекомых, — Цезарь отчего-то залился краской. — Это гораздо труднее, чем млекопитающих. Они ужасно тупы и упрямы. Но Асмодей уже иногда делает то, что я говорю. А иногда не делает... Осторожнее здесь на ступеньке. Знаете, когда ждешь со дня. На день, что тебя выселят, не заботишься ни о ремонте, ни о чем. Да я и не умею, и денег. Нет, отремонтировать мне отказались, говорят: фундамент сел, лучше заново отстроить. Но куда мне! И налоги тут ужасные... Сюда, пожалуйста. Извините за беспорядок...

Скворцов огляделся. Они находились в небольшой комнате. Назвать ее состоянием беспорядком значило поискать смягчающие слова. Комната была по-нищенски захламлена, в ней пахло столярным клеем и пылью, на полу

валялись обрывки бумаги, в углу стоял продавленный диван, рядом с ним зеленый ночной горшок с крышкой и электрический обогреватель, забавный в нынешнюю жару; тут же была и электроплитка со сковородкой. Часть комнаты отделялась занавеской. Похоже, это была единственная жилая комната в доме: и кухня, и спальня, и гостиная, и рабочий кабинет, хотя ничего, что бы указывало на род занятий жильца, Скворцов не увидел.

— Моя основная экспозиция, если ее можно так назвать, — говорил масочник, нервно почесывая зеленую щеку и без конца сглатывая то ли слюну, то ли комок волнения, — расположена в других комнатах, но я вам сначала хотел показать. Предысторию, если можно так выразиться, то есть с чего я начинал, вот это у меня здесь. — Он достал из-за дивана фанерный самодельный чемоданчик, с какими иногда ходят художники; открыл крючок, и верхняя крышка сразу пружинисто отошла под напором содержимого. — Это не маски в собственном смысле, — предупредил Цезарь, — но первые мои. Опыты, мой отец тоже был художник, и очень своеобразный. Он давал мне обрезки холста, вот видите, — все овальной формы. Дело в том, что он рисовал когда-то для фотографов...

...Глеб давно уже смотрел не на фанерный чемоданчик и не на овальные обрезки холста, а на двухцветное прыщеватое лицо масочника, на его оттопыренные уши, расплывчатый рот и единственные в своем роде очки с нарисованными на них глазами; стоит ли говорить, что он узнал его сразу, едва увидел, — что-то, а эти очки врезались ему в память прочно, и слова об отце теперь окончательно все подтвердили; но какой-то непроносимый запрет мешал ему признать это вслух. Теперь он разглядел, что кожа под очками Цезаря изрядно дрябловата; как это бывает у белокурых людей, он выглядел моложе своего вероятного возраста, да еще прыщи придавали его лицу что-то совсем юношеское; на деле он был вряд ли младше Глеба. «Ну а голос-то, голос-то отчего так похож? — пробовал догадаться Скворцов. — Вдруг его отец, как и дядя Гриша, — наш, сареевский, и мы, того гляди, родственники?» — попытался он сконструировать романтическое объяснение; но что-то в этой теме было невыразимо скользкое, опасное; его и так пробирало волнение,

кожа, сведенная мурашками, показалась вдруг тесной. Глеб взял себя в руки и отвел взгляд от лица масочника на крашенный морилкой фанерный ящик...

— ...Цезарю цезарево, — так он мне говорил, отдавая эти овальчики... Вообще, — говорил он, — каждому свое. Я на них впервые учился рисовать лица, так получалось, что я. Только это и умел и больше всего любил...

Плоские разрисованные овалы один за другим появлялись из ящика: спрессованные лепешки лиц без ушей и прически, чьи тела, размноженные в десятках, а то и сотнях копий, нахально нежились до сего дня где-нибудь под африканскими пальмами, сидели за свадебными столами, прогуливались мимо Эйфелевой башни или Кремля, катались на лодках среди бумажных лилий или, воинственно выпячивая увешанные орденами груди, облокачивались на танковую броню — плоские, сплюснутые, но совершенно человеческие лица, чьей-то злорадной силой оставленные здесь в непонятный залог. Масочник выкладывал их одно за другим на ладонь, как на блюдо, стопка овальных обрезков давно уже поднялась на столе выше плоского чемоданчика. Лица были выписаны очень тщательно и пугающе правдоподобно; в их чередке промелькнул на секунду оскал дяди Гриши — этого карличьего лица с ядреными зубами нельзя было спутать ни с кем. Но не успел Глеб Скворцов удивиться странному совпадению, как в следующей физиономии узнал нечто еще более ошеломляющее — себя.

— Смотри-ка, я, — сказал он, выхватывая с ладони масочника холщовую лепешку.

Масочник быстро взял ее обратно, поднес к глазам, как сильно близорукий, когда на нем нет очков.

— Ничего похожего, — пролепетал он с тем же испуганным выражением.

— Еще как похоже, — потянул у него из рук портрет Скворцов.

— Вам кажется... случайное сходство. Даже если я вас где-то видел... у меня есть портреты случайно встреченных людей... но это рисовалось. Много лет назад... двадцать... и даже больше... вы тогда не могли быть таким.

Он окончательно выхватил у Скворцова лицо, с какой-то неожиданной досадой, почти раздражением сунул его обратно в чемоданчик и стал запихивать туда же осталь-

ные; их оказалось теперь вдвое больше, чем могло там поместиться.

— Очень интересно, — сказал Глеб на всякий случай, чтобы загладить непонятную неловкость; впрочем, он мог бы употребить и слово посильнее; холодок между лопаток еще заставлял поеживаться.

— Что вы, мой отец был удивительный человек, — невпопад согласился Цезарь, безуспешно уминая обеими руками раздувшиеся, как на опаре, обрезки. — Это был художник-философ. Он так много видел даже на пустом холсте, что всякий мазок представлялся ему профанацией идеи. Для заказчиков он просто увеличенно переносил на холст фотографии, но это даже не считалось за работу. Больше всего он ценил на картинах эти самые дыры. Мечтой его было написать холст, где главная глубина, суть сосредоточивались бы в таких пустотах. Невыразимое, которое сам знаешь, но не можешь передать другим. И не должен передавать.

Голос масочника становился все уверенней; он теперь не сглатывал неведомую горошину; очутившись в своей сфере, он казался вовсе не так прост, как несколько минут назад; впрочем, настроение его могло в любой момент измениться, тем более что строптивые лица, залог невесть где странствующих тел, никак не хотели убираться в ящик, хотя он налегал на крышку и животом, и руками, и всем телом. Наконец он догадался с размаху вскочить на нее задом и быстренько набросил крючок.

— Допрыгались, — ехидно хохотнул он. И как бы опомнясь, вновь засуетился перед Глебом: — Теперь пройдемте наверх, там. Моя основная экспозиция, как я уже говорил. Летом, пока тепло. Осторожно, за перила лучше не держаться.

Они стали подниматься по узкой лестнице, обрывая лицом невидимую паутину; серые паучки встревоженно метнулись в свои углы. Комнаты на втором этаже казались просторными от пустоты, лишь вдоль одной из стен тянулся пустой стеллаж тяжелого мореного дуба — остаток старинной мебели, видно, приделанной слишком прочно, чтоб его можно было отодрать и продать; на полке еще поблескивали несколько тусклых золотых корешков — раритеты, которыми не заинтересовались букинисты. Остальные стены, как и снаружи, были покрашены облупившейся зеленой краской, из-под которой также местами выглядывал узорный слой облупившейся оранжевой

и под ней — серой; струпья осыпавшейся краски лежали ровной дорожкой вдоль грязных плитусов. И даже маски, развешанные по стенам от пола до потолка, выполнены были в тех же трех тонах — как будто в свое время удалось по случаю раздобыть запасы этой краски на много лет вперед.

— Я, в отличие от отца, заполняю лица, а пустоту оставляю вокруг, — пояснил Цезарь, увиваясь вокруг Глеба и выбирая для себя рядом с ним позицию поудобнее. — Так сказать, обратный случай... негатив, — подхихикнул он и потер щеку — уже справляясь, однако, с суетливой нервностью; голос его исподволь набирал уверенность — микрофонную уверенность экскурсовода. — В этой пустоте пронизательный взгляд может различить побольше, чем на любой картине... особенно при такой стене, как здесь, с узорами и разводами. Вот, прошу... тут следующий этап моей учебы: литературные персонажи. Гоголь, Щедрин, Булгаков... по-моему, можно узнать. Я предпочитаю фигуры гротескные, они полнее всего схватываются маской. Вы не думайте, что это так просто, не всякого удастся поймать. Но вообще у меня глаз наметан, и так бывает славно: увидишь, раскусишь, схватишь — и к себе на стеночку. Портреты я начинал с близкого окружения, со своих соседей, знакомых... пожалуйста, сюда... голову осторожно, здесь притолока. О, вы даже не представляете, какие своеобразные типы оседают в таких вот тихих дачных поселках за голубыми заборчиками! Пенсионеры, хозяйева, живущие дачниками, огородами, продажей цветов, случайными приработками, оригиналы, неспособные к городской серьезной жизни. Но о каждом можно было бы рассказать сюжет. Вот перед вами Николай Кузьмич Прасолкин... нет, вот этот, с густыми бровями и задумчивым лбом... Мне кажется, тут рядом узор осыпавшейся краски напоминает раскрытую книгу, вы не находите? Это был человек, коллекционировавший полезные сведения на все случаи жизни. Он знал, например, что единственный способ спастись от крокодила, который схватит тебя за ногу, — это давить пальцами на его глаза, а что у медведя, например, чувствительнее всего кончик носа, что, заблудившись в дебрях Амазонки, можно вполне сносно пропитаться семенами гигантского цветка виктории регии, а в заполярных льдах шкуру убитого медведя надо надевать на себя мехом наружу и ни в коем случае внутрь,

иначе она задубеет, как панцирь. Пенсия у него была мизерная, он в жизни никуда не ездил, но подсчитал, что, шагая каждый день по комнате, уже совершил два ~~мизерная, он в жизни никуда не ездил, но подсчитал, что, шагая каждый день по комнате, уже совершил два~~ кругосветных путешествия, причем одно — по экватору. Умер он, упав в садике с гамака. Протерлась веревка, и позвоночником об корень — бац! Еще долго мучился.

А вот этот, как бы треугольный, с лисьим подбородком, Карл Семенович Брук, отставной адвокат, страдал болезненной забывчивостью или, верней, неуверенностью. Он всегда сомневался: закрыл ли дверь на замок, выключил ли утюг, потушил ли керосинку? Это было ужасно. В конце концов он нашел выход: завел блокнот и в нем предварительно записывал все, что нужно сделать. Закроет дверь и тут же вычеркнет соответствующую запись; потом, если засомневается, заглянет, убедится: дверь заперта, керосинка погашена. Со временем он стал доверять только своему блокноту; он записывал в него все дневные планы: утром позавтракать, днем пообедать, сходить в уборную, лечь спать; вычеркнутые строчки позволяли ему не сомневаться в достоверности своей жизни. Правда, он стал теперь бояться другого: не забыл ли чего-нибудь записать; сейчас он целыми днями составляет подробнейшие планы на несколько лет вперед: там намечены дни рождения знакомых и собственные, дни выдачи пенсии, дни визитов к врачу. Я сам видел этот календарь: в конце самой последней страницы там для напоминания поставлен на всякий случай маленький крестик.

В этом уголке у меня местные прожектёры и изобретатели, народ по складу скромный, но я хотел показать, какие водовороты глобальной жизни могут бурлить за этими непримечательными лбами. Никифор Ильич Петухов-Кочетов, предложивший проект отдельного воспитания в детских садах. Самсон Данилов, автор не менее замечательного проекта с целью искоренить одновременно и пьянство и курение; гвоздь проекта: ввести в анкеты для поступающих на работу графу об употреблении алкоголя и табака. Аникин, изобретатель, предложил автомат, самостоятельно пускающий мыльные пузыри. Ну и так далее. Прошу опять наклонить голову...

Они прошли в мансарду со скошенным потолком; щеки масочника покраснелись, так что прыщей было и не видать, он словно бы стал здесь выше ростом; взгляд

его был устремлен мимо Скворцова, на развешанные по стенам лица — объемные, застывшие в серьезной или улыбающейся гримасе, будто выглянувшие из-за стены в прорезь, специально чтобы показаться гостю и готовые вот-вот за его спиной подмигнуть или высунуть язык. А вот схвачу за нос, усмехнулся Скворцов и даже примерил это движение к смуглой маске с усиками и выпученными глазами; та ловко увернулась, не изменив, однако, своего выражения.

— Вас интересует вот эта? — заметил его оглядку Цезарь. — Это Грант Апресян, здешний милиционер и страстный футбольный болельщик. Когда-то он болел за свой ереванский «Арарат», потом на службе пришлось болеть и за московское «Динамо». Ему удавалось это как-то совмещать, пока они играли в разных лигах. А теперь, когда приближается день встречи этих команд, он просто заболевает. Невроз, шизофрения, раздвоение личности — я уж не знаю; слишком искренний человек. И темперамент южный... Но это из другого раздела. Здесь у меня первые попытки сюжетов... трудная материя, когда располагаешь всего только лицами. Я опять как-то старался использовать пятнистость стен, но главное, конечно, воображение. Правда ведь, можно увидеть при этих четырех доминошниках стол и даже костяшки? Вот этот, длинноволосый, сейчас наверняка объявит рыбу. Это два соседа, заядлых спорщика, они без конца заключают между собой пари по каким угодно поводам — и представьте, ни разу ни один из них не проиграл. Просто поразительный случай, особенно если учесть, что они из принципа рвутся противоречить друг другу. Стоит, например, одному заявить, что на звезде Сириус есть жизнь, как другой тотчас взовьется: спорим, что нет. Или один скажет: по-моему, вот этот самолет летит в Новосибирск. Другой сразу требует пари: спорим, что в Красноярск. Впрочем, и выиграть пока ни одному не удалось ни разу.

Ну, а теперь ваш болельщик. Здесь у меня спортивный раздел: знаменитости, звезды разных лет, большинства имен сейчас и не вспомнишь! А как звучали! У меня они все в зените своей славы — так и застыли. Я сам уже путаю имена; впрочем, славные ребята, я к ним хорошо отношусь, хоть сам спортом никогда не увлекался. Теперь спустимся по этой лестничке... только, умоляю, не хватайтесь за перила...



Они прошли по комнате, где маски были развешаны ровными рядами и повернуты взглядом в одну сторону, словно маршировали в невидимом строю, проследовали мимо разделов литературы и искусства, вновь поднялись по ненадежной лестничке наверх и спустились уже по другой; серые паучки улепетывали от них по невидимым канатам, как по воздуху, и Скворцов водил перед собой рукой, чтобы не угодить в их сети лицом. Он вскоре окончательно потерял ориентацию и не мог понять, как уместилось в небольшом по наружному виду строении столько комнат — может быть, и каморок, но казавшихся невероятно вместительными из-за множества наполнявших их лиц. Интеллектуалы напрягали свои интеллектуальные лбы, несли за столами свою службу служащие, сидели сиделки и любовались друг другом любовники, судья готовился судить и заседали с ним заседатели, учили учителя, творили творцы, шутили шуты, прорицали пророки и мистики занимались своими мистификациями.

— А на самый верх мы не пойдём, — попросил масочник. — Там ступеньки совсем опасные.

Они спустились по очередной лестнице, последний раз оборвав липкую сеть, которую успел уже снова навесить взамен порванной шустрый паучок, и оказались в той же самой комнате, откуда начали путь: Скворцов отер лицо и руки; наверно, он вообще изрядно испачкался, но в доме не было ни одного зеркала, чтобы убедиться в этом.

— Вот все, — сказал Цезарь вдруг упавшим тоном — и сам как-то вновь уменьшился в росте. — Вам было интересно?.. Асмодей, негодник, ты куда забрался? — тут же крикнул он, не дожидаясь ответа, и кинулся сгонять со своей кровати красного петуха. — Вот хамство, чуть с ними помягче — и уже на голову лезут...

— Цезарь, — негромко сказал Скворцов, останавливая его за руку и невольно для себя обращаясь к нему на «ты»: — Ты себе цены не знаешь. — Вдруг Глеб заметил, что говорит теперь тем же голосом, что и масочник — своим собственным голосом; возможно, это произошло уже давно, только он не обратил на это внимания — так все было естественно — как будто не было издевательской гримасы, метаний, болезненного искажения — и как будто все это не могло возобновиться сейчас же, за скребущей по земле калиткой. — Ты не знаешь себе це-

ны, — повторил он. — Какой-то захолустный бельгиец занимается любительскими поделками — я их не видел, но уверен, что они и обломка твоих не стоят, — а ему устраивают выставки, прессу, создают европейскую известность.

— Знаю я этого бельгийца, — презрительно скривил зеленую щеку масочник.

— Читал?

— Не читал, а знаю, — туманно повторил Цезарь.

— Но теперь я за тебя возьмусь. Я выведу тебя на публику. Пусть валит сюда толпами.

— Что вы! — испуганно махнул рукой Цезарь. — У меня лестница и трех человек не выдержит. И полы совсем прогнили.

— Сам будешь выезжать, показываться. Только побольше уверенности. Тебе пока не хватает уверенности. Ладно, положишься на меня — увидишь.

— А вы сами кто? — спросил Цезарь. — Журналист?

— Можно сказать и так.

— И печатались? — восторженно округлил глаза масочник. — Я даже не могу представить себе этой жизни. Я не получил систематического образования, оно у меня в основном домашнее, но я много читаю, слушаю радио...

— Я введу тебя к умнейшим людям Москвы: художникам, литераторам, ученым. Ты поймешь, чего стоишь.

— ...а главное, много думаю сам, — закончил масочник.

— Не стоит слишком замыкаться в собственных мыслях, это не дает тебе выхода. У тебя нет настоящего поля деятельности. Оно у тебя будет. Ты запал мне в душу, Цезарь, — завершил Скворцов с некоторой торжественностью, не в силах, однако, сдержать улыбки от предвкушения великолепного своего замысла. — Мы с тобой еще наделаем дел.

Прыщеватое лицо масочника от его слов все больше расплывалось в простодушной улыбке, уши порозовели, большой рот растянулся полумесяцем, подперев разноцветные щечки обращенными вверх уголками, и очки светились восторженно.

## 2

Это прыщеватое лицо с розовыми ушами, с восхищенной улыбкой и восторженными очками так без перемен и оказалось перенесено в комнату-мастерскую Андрея, куда

привел масочника Глеб; только поверх зелено-оранжевой безрукавки на Цезаре был поношенный пиджачок цвета разведенных синих чернил, отчего и щеки его, столь восприимчивые к отсветам, были не разноцветными, а голубоватыми, тем более что в комнате, как всегда, горела дневная люминисцентная лампа. На беду, у порога масочник чуть не наступил своей тяжелой подошвой на колченогую мышку и потом добрых полчаса не мог успокоиться, извинялся, уверял в своей исключительной любви к животным, а к белым мышам особенно, даже призывал в свидетели Глеба и сообщил о новом достижении петуха Асмодея, который вчера научился считать до трех, а сегодня, правда, опять все забыл; потом он без перехода стал восторгаться развешанными по стенам картинами — всему сразу — в наивном стремлении заслужить таким образом приязнь хозяев и прощение за конфуз. Андрей поднес ему водки в стакане со следами неотмытой краски, масочник забормотал было, что вообще не пьет, — но совсем испугался, видно, что обидит художника, одним глотком втянул водку, побледнел, поперхнулся, машинально принял в руку бутерброд с колбасой — и лишь тут, наконец, осекся, замолк. Андрей между тем расставлял работы для показа, Ксена сама начала объяснение. Кроме них здесь были еще и супруги Шерстобитовы. Картины Андрея они знали, пришли сюда больше ради гостя, о котором Глеб успел наговорить немало интригующего. Сейчас они с любопытством поглядывали на этого и впрямь забавного человека с голубоватым лицом. Сам Скворцов сидел в уголке в продавленном, но очень уютном кресле; такая позиция особенно устраивала его потому, что Ксена, как всегда, блистала, и слово «духовность» то и дело спархивало с ее иронически изогнутых уст, беспощадно отзываясь в Глебе.

— Замечательно! — восторгался Цезарь каждой новой картине, ерзая на краешке стула и даже чуть подпрыгивая; бутерброд с колбасой, нетронутый, лежал в его пальцах. — Просто удивительно! Я, может, скажу глупость, потому что я дилетант... хи... кустарь-самоучка... но вы, по моему, исключительно добрый художник. Исключительно! В этих композициях такая нежность... такая примирительная благостность. И такой вкус! Поразительно! — Он вертел головой, выискивая, что бы еще похвалить; могло показаться, что он перебарщивает, если б не его обезоруживающее простодушие. — А вон там, в шкафу за стек-

лом, — это тоже ваши работы? — нашел, наконец, он. — Я так сразу и подумал! Коробки для конфет, да? Нет, почему же чепуха, покажите, пожалуйста! Нет, ну, пожалуйста, это крайне интересно! Зачем вы говорите об этом с таким пренебрежением! Прекрасно!.. Ай-яй-яй! И это все ваше? Просто великолепно! Это искусство, это высокое искусство, не менее значительное, чем любая. Живопись, — Цезарь совсем разволновался, голос его все чаще перебивался спазмой, — а может, по-своему и более значительное. Оно служит людям больше, чем. Музейные шедевры, я готов на этом настаивать. Шедевры видят тысячи людей. Изредка. Ну, десятки, ну сотни. Тысячи, я ничего не имею против, они волнуют. Да, волнуют, иногда потрясают, но они не проникают в жизнь, не меняют ее так, как непритязательное на вид, скромное искусство. Рисунки ткани, роспись какая-нибудь. Или вот эти вот. Коробки — красота идет в жизнь больше всего отсюда. Я бы повесил их, как миниатюры, на стене и любовался по вечерам. Вы, — повернулся он к Ксене, — так прекрасно говорили о разрешении, о выходе из апокалипсиса. Это удивительно верно. Это ваше служение, — вновь повернулся он к Андрею. — Вы вносите в жизнь благородную человечность. Пусть это не потрясает, не бросает в дрожь — а зачем потрясать? Может, это не так уж и нужно. Это не всем приятно. Зато здесь есть тепло — да, да. Я сразу угадал, что вы добры. Эту красоту размножат, к ней приобщатся миллионы. Даже незаметно для себя. И хоть немного, но проникнутся. Да. Я это считаю великим. Демократическим завоеванием нашего века...

«Какую он порет чушь, — с интересом прислушивалась к его горячей спотыкающейся речи Тамара, выпуская из ноздрей струйки дыма. — Но в этой чуши что-то такое есть. Скворцов был прав. Человечность репродукции... ничего. Надо будет позвать его к себе». Она была немного пьяна, голубоватое лицо масочника, сидевшего как раз против нее, под лампой, временами казалось ей изображенным на невидимом прозрачном экране: протяни руку — попадешь в стекло; изображение было чуточку искажено: рот сдвинут вбок; Тамара мысленно подкручивала ручку настройки, возвращая все на свои места, и усмеялась про себя: «Однако! Мне больше нельзя пить...»

«Какое у него оригинальное лицо, — думала Ксена. —

Этот небрежно наляпанный рот, эта идиотская восторженность. Я только сейчас поняла: юродивый. Новый вариант! Если бы Глеб не предупредил, я бы могла не понять. Но такие бывают художниками. Надо обязательно посмотреть его маски...»

А Мишель Шерстобитов ворочался толстым задом на шатком табурете, выскивая положение, чтобы не видеть отблеска на очках Цезаря; из-за этого отблеска все время казалось, что масочник подмигивает, и это почему-то мешало...

На маленьком столике между ними стояла очередная, еще не допитая бутылка, остатки колбасы и миска с копченой рыбой, такой костлявой, что заставляла вспомнить евангельское чудо, потому что костей от нее уже набралось две миски. Но пил теперь один Андрей — как-то нечаянно, автоматически; ему было не по себе, и он не мог понять причины. Расставленные на полу вдоль стены холсты и картоны почему-то казались непривычными, как будто краски на них изменили оттенок и даже вроде бы шевелились, — словом, было ощущение непорядка и беспокойства; да еще неловкость от похвал этого милого человека. Андрей не мог ему не уступить, но сейчас все же досадовал, что его заставили при всех вытащить из шкафа коробки; он немного стыдился этой своей деятельности — хоть она и не была халтурой, отнюдь; но ею, как бы сказать, замутнялась чистота его подлинного служения. По высшему счету надо было бы пойти на бескомпромиссное нищенство — и сам он был к этому готов — видит бог, сам он даже этого жаждал; но он должен был помнить не об одном себе, но и о жене, и, главное, о маме... При воспоминании о матери Андрей насторожился, взглянул за дверь — и действительно, как бы в ответ его мысли дверь скрипнула, отворилась. Андрей метнулся туда.

— У тебя гости, — шепотом, но все же чересчур громким, сказала мама, — а чем ты их кормишь? Как тебе не стыдно? Я могла бы предложить такой вкусный суп.

— Мама, — умоляюще прошептал Андрей.

— И сам бы наконец поел. Я тебя не понимаю.

— Потом, потом, — попросил Андрей, осторожно, чтоб не обидеть, вытесняя ее из комнаты.

Он всегда боялся ее обидеть, в этом было все дело; да и как он ей мог объяснить свое детское, отчаянное, свое вечное стремление избежать ее супов и ее забот; он должен был жить как художник, истово, напряженно, цельно,

безразлично к собственной внешности и к еде — он и был безразличен, и Ксена его во всем поддерживала; но какая тут могла быть истовость, если за стеной жила мать и он боялся ее обидеть? Она специально обменяла комнаты, чтобы быть рядом — как он мог возражать? Всю жизнь бедствовавшая, она теперь гордилась перед родственниками и соседями его высокими заработками, и он отдавал ей все, что получал за эти несчастные коробки, которые давались ему так легко, вызывая восторг заказчиков, и шли все на изделия экстра-класса, на экспорт, на выставки; он готов был зарабатывать для нее сколько угодно, лишь бы она ничего не возвращала ему. Но это значило бы опять обидеть ее — она была так обидчива, и Андрей силился хотя бы от посторонних скрывать свои вынужденные уступки, свое неисправимое благополучие, которого стыдился, как нечестности, и сейчас, при этом восторженном коллеге в мятом пиджачке — почему-то больше, чем всегда...

Обернувшись, он увидел, что гости уже встали со своих мест; видно, его рывок к двери был воспринят ими как сигнал уходить. Андрей неуверенно попытался их задержать, но язык у него заплетался, и Ксена сказала:

— Останься, ты пьян. Я провожу немного сама.

Он пожал вялую потную ладошку масочника, бормоча в ответ на его восторги невнятные извинения и приглашения заходить еще; за его спиной в комнату уже проскользнула мать с ведром и щеткой в руках. Она отодвинула стулья, выкинула в ведро объедки и рыбы кости, брезгливо подняла за спинку белую мышь и положила ее в коробку из-под ботинок. Андрей угадывал эти движения, не глядя на нее; он стоял у двери и смотрел оттуда на свои картины. Как при оптической иллюзии, когда случайный узор складывается в недвусмысленную фигуру и перестроенное зрение уже неспособно воспринимать этого иначе, — он вдруг различил отсюда то, что мерещилось ему в разгоревшемся опьянении, а сейчас стало отчетливо ясным; он увидел, что все эти его картоны и холсты — и этот, желто-голубой, и этот, бело-розовый, и даже этот апокалипсис с пятнами-брызгами, собиравшимися в призрачный крест, — что все они удивительным образом ложатся на изысканные коробки: бело-розовая пастила, шоколадное ассорти, а вот это — «Южная ночь»; он явственно видел уже даже шрифт, вписанный среди пятен, как элемент узора; коробки могли быть прямоугольные, овальные, а также вольной

современной формы — по меньшей мере, десяток шедевров; все, что казалось вызовом и жертвой, что замышлялось в мучении, в бессонных раздумьях и противоборстве духа, опять фатально приносило плоды благополучия, как от прикосновения издевательского жезла, оборачивалось выгодой, от которой негде было укрыться. За что, за что? Невозможно было понять... «И долго ты над этим работал?» — потрясенно скажет худред. «Всю жизнь».

Андрей незаметно для матери выскользнул за дверь и, пошатываясь, вышел на улицу. Солнца уже не было видно за домами, но самые высокие окна, как вершины гор, еще улавливали его лучи. Сравнение было так наглядно, что Андрею на миг показалась абсурдной геометричность этих утесов, но он тут же овладел ею, добавил в небо позолоты, убрал ненужный выступ одного из домов, а также мелкие детали, очертил линию обреза и электричеством написал на крайней скале: карамель «Закатная». На обрезках остались серые затемненные основания домов, бульвар с деревьями, тоже серыми от пыли, на их фоне уже по-вечернему ярко перекатывались зелено-желто-красные горошины светофоров — сам бог подсказывал их на коробку трехцветного монпансье. Андрей шел по длинному узкому бульвару, как по мосткам, проложенным среди грохочущего потока машин, мир был для него очевиден в своей ужасающе-податливой красоте. Женщина вела за руку девочку с желтым воздушным шаром; женщину Андрей убрал, девочке выпрямил ноги, заменил голову, шар выпустил в воздух и там размножил, так что желтые пятна разного оттенка заняли все поле зрения; пожалуй, девочка стала теперь вовсе не нужна, и он осторожно подменил ее парочкой самых крупных шаров с надписью: драже «Воздушное». С высокой стены он снял щит кинорекламы: бандит с перекошенным лицом стрелял из пистолета в спину человека, на белой рубашке проступили пять кроваво-красных вишенок. «Вот это белое поле с вишенками мы и вырежем, — распорядился Андрей, — больше, пожалуй, ничего и не надо: набор «Вишенка»...» Он шел, все убыстряя шаг, сквозь Москву, впервые с такой четкостью открывая для себя абстрактные бездны фантастического, неисчерпаемого города, пуская в дело и медовые луковки церквей (суфле «Малиновый звон»), и геометрически-шоколадный цоколь памятника (ассорти «Я памятник себе

воздвиг» или «Ночной зефир»); сам памятник он убрал, это было бы чересчур банально и слащаво для сорта с небольшим содержанием сахара, зато от подножия прихватил цветы, сегодня их было маловато, да и подзавяли они от жары, Андрей примерил их и так и этак — ему не хватало завершающей идеи, и он огляделся в поисках подспорья. Вдруг он увидел, как в начинавшихся сумерках воздушно мелькнул впереди кто-то бесплотный, но до боли знакомый, в белом венчике из роз, — всего на мгновение, но Андрей успел уловить, и сердце его дрогнуло от радостного, душу захватывающего прозрения. Вот оно! Вот разрешение и подсказка!.. Венчик-то мы и возьмем, он-то нам и сгодится — сюда его, в красный угол, под узорчатый шрифт: мармелад «Белый венчик»...

Тут он замедлил шаг, заметив, что пришел на место. Впереди виднелся перекресток, к которому выходил бульвар, деревья с обеих сторон мешали рассмотреть дома, и Андрей не столько понял, сколько почувствовал, где находится. Он оглянулся и действительно увидел неприметный ход под землю — такой же, как множество других, но для Андрея единственный, он не ошибся бы и с закрытыми глазами. Служительница уже закрывала туалет, Андрей пустил в ход все свои артистические способности, изобразив крайнюю нужду, и старушка, сжалась, пропустила его в гулкий пустой зал. Это был знаменитый московский туалет, просторный, как станция метро, и почти такой же роскошный: с белыми кафельными колоннами, с сиянием скрытых ламп, с огромными зеркалами и диванчиками для курения; сюда можно было бы приходить для отдохновения, здесь можно было назначать дружеские встречи, здесь хотелось жить со вкусом, никуда не торопясь, отвлекаясь от условностей, суеты и социальных различий, важных лишь там, наверху, пользуясь редкостной возможностью открытого общения, которую предоставлял этот самый демократичный, уравнивающий всех вид клуба. Андрей не был здесь уже много лет, но прямо направился к нужной кабине, запер за собой дверь, прикрыл глаза и не сразу открыл их, точно боясь не увидеть ожидаемого. Нет, все было на месте: как раз на уровне его лица, на нежно-белом кафеле проступал выцарапанный гвоздем рисунок обнаженной девушки — такой легкий, такой совершенный, какой не удавался, пожалуй, ни



Матиссу, ни Пикассо. Андрей выцарапал его здесь однажды четырнадцать лет назад, когда еще и не был профессиональным художником, — просто забежав сюда по пути, по естественной надобности, — нарисовал от юности, от озорства, от полноты смутных чувств, в счастливую вдохновенную минуту, почти одним движением — но таким, какое дается, может быть, раз в жизни, и то не всем. Потом он несколько раз заглядывал сюда — отвести душу в худые минуты; рисунок всегда был густо окружен надписями — отчасти обычными для мест общественного пользования, отчасти замечаниями ценителей, как в книге отзывов, и Андрею было приятно, что эту его работу — единственную из сделанных бескорыстно — смотрит так много людей и будет смотреть еще долго, пока стоит этот величественный, может быть, вечный подземный храм. Иногда его одолевал честолюбивый соблазн поставить, наконец, под рисунком свою подпись, но было неловко — да теперь, пожалуй, выглядело б и самозванством. Соблазн этот перемежался с другим: выломать кафельные плиты в свое безраздельное авторское владение; но под рукой никогда не оказывалось инструмента, а потом опять же становилось обидно скрывать от глаз единственный свой несомненный шедевр...

Он смотрел на белую кафельную стену, на нежный рисунок со множеством чернильных и карандашных надписей, окружавших его. Не в пример прошлым годам, надписи были теперь больше иностранные; Андрей разобрал некоторые. «Я всегда считал, что русский народ — самый артистичный в мире», — написано было по-немецки. «Подлинное искусство всегда пробьется к свету», — стояло рядом по-французски. Английских, итальянских, испанских и японских надписей Андрей разобрать не мог; он не прочел бы их сейчас, даже если б знал эти языки, потому что слезы туманили ему глаза...

— Молодой человек! — сердито стучала в дверцу старуха служительница. — Эй, молодой человек! Совесть надо иметь!

Он ничего не слышал; он даже забыл, что кабинку можно использовать по прямому назначению, пока мудрая утешительница-природа сама не напомнила ему об этом... И тут он опять увидел себя, вот так же заглянувшим сюда — четырнадцать лет назад — запросто, без претензий; все было естественно и незаданно — мгновение жизни, такой же всеобъемлющей и подлинной, как сейчас,

когда он стоял среди белых кафельных стен, слушая в подземной тишине чистый, как музыка, звон — в эту жизнь естественно вмещались, не отменяя друг друга, и мама, и колченогая мышка, и радость искусства, в ней происходило то, чему следовало произойти, в ней не было натуги, истовости и вызова, не было порыва к трагическому, которого неоткуда было взять, он просто вслушивался в эту жизнь, мгновения которой со звоном уходили, переливались в прошлое, и брови его не были напряжены...

Он долго еще так стоял, задумчивый и оглохший, не слыша, как встревоженная старушка все громче стучит по дверце:

— Эй, дяденька! Молодой человек! Ты, чай, не повесился? Жив еще? А?

### 3

Утром под окном Шерстобитова работала мусороуборочная машина. Мишель задумчиво сидел за письменным столом перед раскрытой рукописью, оборванной на фразе: «...этим объясняется равнодушие»; слово «равнодушие» было прозрачно зачеркнуто, над ним надписано: «бесстрастность». Он умышленно зачеркнул первое слово такой тонкой чертой, ему не хотелось закрывать его совсем; лучше всего было бы так и оставить оба варианта, черновой и окончательный, чтобы рядом со вторым хоть слабо, но брезжил первый; искомое подразумевало одновременно оба и находилось между ними, как «зюйд-вест», ну может, «зюйд-зюйд-вест». Он больше всего ценил эти переливчатые, двузначные оттенки своей мысли и переживал, что, как всегда, будет должен ими поступиться, ибо никакая типография не сумеет этого воспроизвести. Так он раздумывал, сидя за письменным столом, в дачной свежести своей комнаты, покуда рабочие совковыми лопатами запикивали в недра машины отходы вчерашнего дня: картофельные очистки, пакеты из-под молока, букет георгин, совсем еще свежих, выброшенных в мусоропровод ревнивым мужем, который не захотел поверить, что цветы купила сама жена у станции метро, да еще в такой поздний час; ваза при этом разбилась нечаянно, он о ней сожалел, но ее черепки валялись тут же, среди корок арбуза, пока еще дорогого, рыночного, по полтиннику кило, среди капроновых чулок, старых школьных тетрадок и поломанных игрушек,

много лет хранившихся для памяти: а теперь сын в восемнадцать лет решил жениться наперекор родителям, и память лежала, замызганная, вперемешку с пищевыми отходами и комнатным сором и разорванными в мелкие клочья бумажками — остатками рукописи, возвращенной редакцией, — и действительно бездарной, очевидно бездарной; раньше в таких случаях бумаги жгли, но где их сожжешь в современном доме без печей? — оставалось только разодрать листы помельче, так чтоб даже дворник или мусорщики не увидели ни строчки этого позора — недавней надежды, где каждое слово вмещало столько мыслей, опыта и чувства. Но мусорщики и не смотрели на некогда белые клочки, как не смотрели и на синие: два театральные билета с необорванным контролем (она не пришла к театру в назначенный вечер, и он из презрения решил никому их не продавать и сам не пошел, а с кривой улыбкой бросил дома в мусор, находя почему-то злорадное мстительное удовольствие в мысли о двух пустующих креслах — хотя в театре всегда пустовала половина зала, и эти два кресла были, по крайней мере, оплачены); совковые лопаты равнодушно запихнули в пасть машины и их, и сношенные башмаки, и окурки; в сторону откладывались лишь целые бутылки (тоже заработок), отдельными кучками — нейлоновые чулки, тряпье — в утильсырье, и корки хлеба — кому-то для скотины; мусорщик нажимал рычаг, и пресс заталкивал в огромное чрево отходы жизни, ее преходящий мусор, чистоту и пошлость, ее слезы, вздохи и страсти, ее повседневные выделения — недолговечное жизненное вещество, превращенное в грязь, — и штанга пресса, отшлифованная об нее, сияла чистым стальным блеском.

Шерстобитов следил за работой машины долго, пока она не уехала; фраза, оборванная на слове «бесстрастность», остыла и не поддавалась продолжению. К мусорным бакам подошла пятнистая кошка, обнюхала их — и Шерстобитов вдруг вспомнил про свою серую: лежит ли она сейчас под дверью? Наверняка лежит, у помойной будки ее ни разу не видели — как будто доказывала что-то. Кошка (а может, и кот) повадилась к ним месяц назад по вине Мишеля: он застал ее однажды на лестничной площадке да по глупости вынес тогда в газете случившейся требухи. С тех пор она стала дежурить у дверей, хотя

едой ее больше не баловали. Тамара приваживать ее запретила, пробовала гнать, но зверюга с удивительным упрямством и хитростью возвращалась. Заслышав у двери шаги Тамары, она предусмотрительно отходила на безопасное расстояние, справедливо предполагая возможность пинка; Мишеля же не боялась — не удостаивала. Когда он украдкой выносил ей колбасных шкурок, кошка поднимала на него медленный укоризненный взгляд — становилось неловко, честное слово. Будто хотела спросить: почему она должна сидеть на лестничной площадке? Еда — что, еду она принимала снисходительно и даже как-то высокомерно, ее интересовал принцип: чем она была хуже тех, кто без особых заслуг и доказательств порядочности пользовался благами приличных жилищ? Мишель сам понимал, что невесть откуда прибудившееся животное нельзя пускать в дом к шестилетнему ребенку; Гоша и так уже к этой кошке тянулся. Несколько раз Тамара велела прогнать ее; кошка позволяла Шерстобитову вынести себя во двор, потягивалась там, вздыхала и, оглянувшись на Мишеля, уходила гулять; через несколько часов она вновь была на своем посту. Наверняка и сейчас там дежурила. Мишель не выдержал, оторвал бесполезный взгляд от строчки «этим объясняется бесстрастность» и пошел к двери. Кошка лежала на половике, смотрела на него, прищурясь, одним глазом. Взгляни она на него нормально, как положено кошке, Мишель остался бы спокойным. Но этот подмигивающий прищур почему-то вдруг вывел Шерстобитова из привычного равновесия — будто напомнил что-то. Потом он долго удивлялся, что на него нашло: с неожиданной для себя резкостью хлопнул дверь, схватил одной рукой кошку под брюхо, запихал ее за пазуху рубашки и как был, в комнатных сандалиях на босу ногу, спустился по лестнице. Он шел торопливо, от непривычки к ходьбе у него началась одышка; у остановки он, не глядя, сел в первый остановившийся автобус, даже билета не взял, на следующей остановке сошел и тем же поспешным (по своей мерке) шагом двинулся по незнакомой улице, чувствуя за пазухой у груди горячую живую дрожь мелко перекатывающегося похрапывания. Он шел, петляя, словно желал сбить кого-то со следа; в незнакомом переулке, у желтых бараков, осторожно спустил кошку за чей-то забор — а сам трусцой, чтоб не спохватилась вслед. Бежал и оглядывался, точно не от кошки прятался; рубашка на белой потной груди расстегнулась, лысина блестела,

короткая борода курчаво слиплась. С улицы он свернул в небольшой парк — это показалось почему-то хитрым маневром — и здесь опомнился: остановился, захохотал. Пенсионеры, игравшие в тени за шахматными столиками, удивленно оглянулись на эту громоздкую фигуру в сандалиях на босу ногу и в пижамных коричневых штанах без карманов. Об отсутствии карманов Мишель вспомнил, когда увидел перед собой пивной ларек и обнаружил, что при нем нет ни копейки, равно как и ключей от захлопнутой двери. От этого открытия пить тотчас захотелось, как никогда в жизни: точно горло кто-то нарочно стал натирать сухой жесткой щеткой да еще коготками прицарапывать. Мычать хотелось от досады, ларек магнетически притягивал к себе, и Шерстобитов не нашел в себе силы оторваться от очереди, стоял, медленно продвигаясь вперед, примеривая безнадежные просьбы к толстухе буфетчице поверить в долг и не менее безнадежно озираясь в поисках знакомых, — как вдруг уже близко от окошечка, прямо перед собой, вернее под собой, в самом деле увидел светлую, с плешинкой макушку того, кого меньше всего ожидал встретить: недавнего Андреева гостя. Он не заметил его сразу, наверно, лишь потому, что смотрел поверх его головы; те, кто привыкли видеть Мишеля преимущественно сидящим, сейчас оценили бы самоварную мощь его телосложения, особенно ощутимую рядом со щуплым масочником: в Шерстобитове уместились бы двое, а то и трое таких, как он.

— Цезарь, — загудел он и сжал плечо масочника так, что тот не только вздрогнул, но почти присел. — Дорогой мой, — тут от прилива чувств он, наклонясь, даже чмокнул его в щеку, — вы мне посланы судьбой. Есть у вас лишний четвертак? Потом все объясню...

Несмотря на собственное нетерпение, Мишель говорил не быстрее обычного, и конец его фразы совпал с окриком буфетчицы: «Вам сколько?» К счастью, Цезарь оказался малым понятливым, к тому же он заметно обрадовался возможности услужить, и через минуту оба уже отходили от павильона с кружками в руках к шахматным столикам; один из них оказался свободным, и даже фигуры на доске были расставлены в первоначальном порядке. Парк был малолюден, из репродукторов слышалась громкая музыка.

— Сыграем? — хмыкнул Шерстобитов, утешив горло благодатной жидкостью. — Пока не гонят... А я, понима-

ешь, выскочил за дверь без ключа и денег. Нашло что-то на меня. Вообще как-то странно себя чувствую.

— Жара,— с готовностью объяснил масочник.— Исключительно действует на сердце и психику. Я по своему Асмодею замечаю. Даже от лягушек бросается, как от Кошмара и мечется, бегаёт по дороге — прямо одурелый. Говорят, и у людей последнее время наблюдается.

— Откуда ты взял?

— По радио слышал. От пожаров также предостерегали.

— А... Нет, я сам по себе. Я от погоды не завишу. Зверюга одна меня сбила с толку.

Шерстобитов был все еще возбужден, за пазухой у груди теплилось ощущение живого дрожащего дыхания. Как и Скворцов, он почему-то сразу стал говорить Цезарю «ты», принимая в ответ, как должное, «вы»; что-то во внешности масочника, в его уважительной, чуть не подобострастной повадке располагало к неравенству. Он и глядел на бородатого Мишеля снизу вверх (впрочем, теперь они сели на скамейки у столика, и разница в росте сгладилась), и слушал, не перебивая, что при медлительной манере Шерстобитова было редкостью; обычно его долгие паузы подзуживали собеседника вставлять свое. Но Цезарь из почтительности позволял себе вступать лишь к случаю, и это поощряло необычную разговорчивость Мишеля.

— Так что,— повторил он,— сыграем блиц?

— Я плохо умею в шахматы,— пробормотал масочник.

— Мало ли... Я сам много лет не играл. Теорию почти забыл.

— Тем, кто не знает теории, я всегда проигрываю,— поспешно заверил Цезарь.

— Да? А у тех, кто знает?

— С теми обычно ничья.

Мишель отхлебнул пива и покосился на очки масочника: в них опять почудился отблеск.

— И с кем случается чаще играть? — спросил он.

— С самим собой. Я играю исключительно с самим собой. Я, видите ли, живу уединенно,— начал объяснять он...

— Подмигиваешь! — уловил наконец отблеск Шерстобитов и захохотал.— Я так и почувствовал, что подмигиваешь.

Масочник, не понимая причины его веселья, сконфуженно улыбался на всякий случай.

— Нет, дай я тебя еще поцелую, спаситель мой.— Мишель перегнулся, навалиясь брюхом на стол, и сбил бы шахматные фигурки, если б Цезарь сам поспешно не приблизил навстречу щеку, в которую и был чмокнут.— А ты ведь, помнится, живешь за городом. Как ты здесь очутился?

— Совершенно случайно,— с готовностью объяснил Цезарь.— Мне назначил встречу Глеб Иванович и не пришел.

— Глеб Иванович — большой шутник,— неопределенно хмыкнул Шерстобитов.— Ты не находишь?

— Исключительно остроумный человек,— согласился масочник.— И такая сила воображения. Я перед ним...— он даже захлебнулся каким-то чересчур восторженным словом и не сумел его выговорить.— Если бы не он...

— Ты б наверняка не сидел здесь и не играл со мной в шахматы,— закончил за него Мишель.— Между прочим, твой ход.

Масочник побледнел, как будто эта новость крайне его испугала, запоздало рокировался.

— Вы замечательно играете,— пробормотал он, и краска вновь вернулась — не столько на щеки его, отчасти голубоватые от пиджачка, отчасти с зеленцой от окружающей зелени,— сколько в прыщи.— Скажите,— осмелев, обратился он к Мишелю,— а вы действительно настоящий философ?

— Настоящий! — захохотал Шерстобитов.— Как Сократ. Или Спиноза. Как Иммануил Кант. Вопрос, как говорится, в яблочко. Мой вундеркинд Гоша смутился, когда его спросили о родителях. Кто, спрашивают, твоя мама? Инженер. Это прекрасно, это естественно, это почетно. А папа?.. Ну представь, каково тут отвечать: папа... нет, даже выговорить в наше время неловко.— Он осклабился, все больше почему-то возбуждаясь — теперь еще и пивом: — Мой папа — философ... Тебя надо познакомить с моим вундеркиндом, он завтра прибывает из Евпатории. Удивительный, озадачивающий ребенок. Он не может играть с детьми во дворе, ему неинтересно: при любой считалке он заранее выводит в уме, кому выпадет водить. Современные городские дети.

— Акселерация,— подтвердил Цезарь.

— Когда он впервые понял, что идет дождик, он спро-

сил: а где эта поливальная машина? Ее он осознал раньше. В «Литературной газете» читает диспуты: кого больше слушать — папу или маму?

Мишель отпил очередной глоток и сделал ход, прислушиваясь к мелодии из репродуктора: тягучий мужской баритон выводил что-то медленное, приятное и странно знакомое. Очередь у пивного ларька замерла, буфетчица держала руку на кране, но пива не наливала, рот у нее был полуоткрыт, как будто она увидела что-то озадачивающее. Мишель обернулся в сторону ее взгляда, но ничего примечательного там не нашел, кроме юной парочки на дороге. Может, ее дочка с чужим парнем, усмехнулся Мишель. Аж глаза выпучила.

— Ты не знаешь, что это за музыка? — спросил он Цезаря. — Вроде знакомое, а не пойму.

Уши масочника шевельнулись, он весь обратился в слух.

— Эдит Пиаф, — тотчас определил он. — Только крутится замедленно. Видно, проигрыватель барахлит.

— Фу-ты, верно! — поразился Шерстобитов. — Как ты разобрал? И все ты знаешь. Откуда ты все знаешь?

— Я очень много слушаю радио, — живо пояснил масочник. — Когда сидишь занимаешься какой-нибудь работой... это очень удобно. У меня репродуктор принимает все три программы. «Союз», за восемнадцать рублей купил. Кроме того, у меня феноменальная память. Все говорят: феноменальная. Я помню цены двадцатилетней давности, результаты матчей. Хотите, я вам скажу...

— Не надо. Занятные у тебя очки, — пробормотал Шерстобитов, всматриваясь, — никогда таких не видал... А ничего музыка, скажи? Есть в этом своя прелесть. Я теперь у себя дома тоже переведу все на замедленную скорость. Пусть задает темп. Медлительный темп тоже, знаешь, непросто удерживать. Особенно для меня. Я от природы чувствую время. Без всяких часов, с точностью до минуты, как будто у меня внутри встроен механизм и тикает. Вот сейчас, пожалуйста: двенадцать часов четырнадцать минут... вернее, уже пятнадцать... У тебя есть часы? Точные? Можешь сверить. Довольно обременительное свойство. Чтобы куда-нибудь опоздать, мне надо поднатужиться. А встаю каждый день в пять часов, минута в минуту, как будто в моем механизме срабатывает звоночек. И сажусь работать. Приходится. Думаешь, почему я могу с тобой сидеть так беззаботно? Потому что уже к десяти выполнил



весь дневной урок. Меня никто не видит работающим. Я этого не люблю.

— Как Хемингуэй, — вставил масочник.

— И это знаешь, — сказал Мишель, продолжая наблюдать за его очками. — Ты знаешь все, что нужно собеседнику. Тоже по радио услышал?

— Я и читаю тоже, — с некоторой обидой скривил губы Цезарь.

— А сегодняшние газеты читал?

— Не успел еще. А что там?

— Пишут, что наш общий знакомый Андрей сбрил свою превосходную бороду и достал широченный галстук с цветным узором, который, говорят, весьма ему идет. Удивительная сенсация.

— Правда? — восхитился масочник. — Я, знаете, как портретист сам пробовал представить его без бороды — и мне показалось, он должен быть очень красив.

— По непроверенным сообщениям, он также посадил свою мышку в клетку и подарил соседскому парнишке.

— Ай-яй-яй, — огорчился Цезарь, — вот это жалко. Мне эта мышка очень запомнилась.

— Еще бы... — Мишель не сводил с него тяжелого от пива взгляда. — Как ты думаешь, почему я с тобой так разговорился?.. — спросил вдруг он. — Потому что ты мне симпатичен... спаситель мой, — ответил он сам, — дай я тебя еще раз... нет, потом, — отменил он попытку оторваться от скамейки, хотя Цезарь уже предупредительно тянул навстречу свою щеку. — Ну как, сдаешься? — Шерстобитов подвинул пешку на шестую горизонталь.

— У нас пока ничейная позиция, — возразил масочник, без раздумий отсекая путь пешке слоном.

— Значит, я немного знаю теорию?

— Просто поразительно! Мне кажется, у нас сейчас в точности повторена позиция одной партии Алехина и Капабланки, в тридцать втором году.

— Не может быть.

— Уверяю вас, я сам. Поражен, но могу завтра же принести книгу. Там в комментарии рекомендуется белым отступить ладьей на вторую горизонталь. У меня феноменальная память.

— Но у меня-то нет.

— Значит, вы пришли к этому. Интуитивно, сейчас сыграно так много партий, некоторые вообще. Считают, что теперь легче повторить старую, чем придумать свое.

— Мысль из репертуара нашего друга Глеба Ивановича, — сказал Шерстобитов и вдруг захохотал, грозя Цезарю пальцем. — Вот я тебя и поймал.

— Где? — взгляд Цезаря заметался по доске.

Над его королем повисла муха, медленно поднимая прозрачные крылышки. Это было так диковинно, что Шерстобитов тоже уставился на нее; потом, словно догадавшись о чем-то, перевел тяжелый взгляд на ларек. Очередь по-прежнему не двигалась, но буфетчица глядела уже не вперед, а на кружку с медленно набухавшей шапкой пены. Парочка на дороге переместилась на несколько шагов вперед и там опять застыла в позе идущих людей. Баритон певицы из репродуктора перешел в глубокий бас, медленно тянувший медовую ноту...

— Ладно, — сказал Шерстобитов, встряхивая головой. — Ты меня не слушай. А слушай, так не верь. Я ведь тоже подмигивать умею, пусть твой Глеб Иванович знает. Ну что задумался?

— Не знаю, куда ходить.

— За пешку спрячься... Так ты, говоришь, масочник?

— Глеб Иванович меня так называет.

— И твои маски только висят на стенках, или их можно примеривать, надевать?

— Можно, — сказал Цезарь, — только это не имеет смысла. У меня дома не осталось ни одного зеркала. А без зеркала что в маске, что без маски — себя не увидишь. Я однажды надел — и по рассеянности забыл что. В маске, они у меня легонькие. Так на улицу и вышел. Я вообще рассеянный.

— Представляю, сколько было смеху.

— Нет, кажется, никто и не заметил.

— Великолепно! — захохотал Шерстобитов, — Нет, с тобой говорить истинное удовольствие. Непременно приходи к нам в гости. С женой моей Тамарой познакомишься ближе. Она у меня гениальный человек. Без преувеличений. Я без нее жить не могу. Дышать не могу. В буквальном смысле. Она мне создает атмосферу. Ты заметил, какой вокруг меня свежайший воздух? Понюхай поближе. Озон. Самый настоящий озон. Не чувствуешь?.. Не может быть... — Мишель потянул ноздрями. — В самом деле... кажется, ничего нет. Неужели кончилась батарейка? Еще на неделю должно было хватить. Ай-яй-яй... — Шерстобитов озабоченно вынул из нагрудного кармана то, что казалось записной книжкой, а на самом деле оказалось плос-

кой коробочкой.— Все понятно... все понятно. Это уникальнейший прибор,— пояснил он изумленному масочнику,— японский озонатор какого-то необычайного устройства. Он и в Японии не у всех есть. Может у одного императора Хирохито. А она достала. Для меня. Она ездит за границу, она гениальный человек. Теперь все понятно... все понятно,— бормотал он.— А я чувствую, мне дышится не так. И вообще что-то не в порядке... и с нервами... и с головой что-то. Я уже привык к воздуху исключительно высшего качества, я без этого не могу. Приборчик всем хорош, но жрет массу энергии.

— Особенно в такую жару,— вставил масочник.

— Да, да, да... Действительно, и до меня жара добралась. Теперь только дожидаться вечера. Она подзаряжает мне батарейки... или аккумуляторы, не знаю. Я без нее не могу. Тут некоторые болтают насчет нашего развода. Чепуха. Как я от нее уйду? А? — он рассеянно сдвинул ферзя.

— Сюда нельзя,— сказал масочник.

— Сюда нельзя, сюда нельзя, сюда тоже нельзя...— Мишель вернул фигуру на место.— Конечно, мы с ней спорим, полемизируем. Но ведь какие это споры! М-м, какие споры!— он чмокнул кончики своих пальцев.— Хочешь, открою тебе секрет? Тебе одному... и Глебу Иванычу, конечно, ибо чую родственную близость... пленили вы меня. Совершенно недавно... только: тс-с!... я совершенно случайно... совершенно случайно!.. обнаружил, что все наши дискуссии записывались на магнитофон. Потом Тамара мне в этом призналась и продемонстрировала записи. Она хочет сделать из них документальную книгу. «История одного развода». Цезарь, это потрясающе! Это достойно диалогов Платона. С участием нескольких персонажей. Нарочно так никому не придумать.

Масочник смотрел на него округленными очками.

— Да ты не слушай меня! — захохотал Мишель.— И слушай, да не верь. Я ведь тоже люблю иногда порезвиться... особенно в подпитии. Хотя не так я и пьян. Все пьяные немного еще и играют в пьяных. Если б они в жизни не видели, как это бывает, они, глядишь, и по половице бы прошли.

— Значит, на самом деле все не так? — облегченно догадался масочник.

— Что значит не так? — осклабился Шерстобитов.— Если уж хочешь знать истину, так я об этом магнитофоне

всегда догадывался. Даже знал. И даже для интереса заготавливал некоторые экспромты, забрасывал крючки. Нет, это будет замечательная книга! Сколько в ней злободневности, глубины! Какие перлы язвительного остроумия...

Он замолк и покосился на доску. Мужики над шахматным полем уже не было, зато впереди, над невысоким тополем, неподвижно повис в воздухе голубь, буфетчица держала под струей пустую кружку, и парочка на дорожке скрылась за близким поворотом; бас из репродуктора производил впечатление самолетного рокота.

— Вот так, — тряхнул головой Мишель. — А хочешь — третье донышко шкатулки? Чтобы уж совсем начистоту? Почти все мысли Тамары я сам же ей и подсказывал. Она понятлива, надо отдать ей должное, и умеет всему придать свою интонацию. Но без меня ей тоже не обойтись. Мы могли бы опубликовать книжку совместно, как наш общий шедевр...

Шерстобитов взглянул на раскрытый рот масочника и снова захохотал.

— Ну как тебе нравятся эти варианты? Учти, я ничего не зачеркиваю до конца, разве что прозрачной чертой: поправку читай, обмолвку держи в уме. Я человек переливчатый. Я тебе не Андрей. Думаешь, почему я перед тобой так легко распахнулся? Отчасти потому, что ты меня пленил... и спас... и под настроение попал. Но главное, ты все равно меня не ухватишь. Не так, дорогой, все просто. Этак любой дал бы волю фантазии и штамповал шедевры. Великие творения не даются просто холодной игрой ума. Чтобы постичь тему, нам надо искренне верить в свою несовместимость. Искренне. Это уж потом, когда один раз наш спор оказался записан, пришла идея, что из этого может сложиться нечто цельное, гармоничное. Все противоречия вдруг свелись к единству. Даже трагедия здесь снимается, если из нее сделать произведение искусства... снять с нее, так сказать, слепок...

— Исключительно глубокая мысль, — осмелился вставить Цезарь. — У меня тоже было размышление на эту тему... о погребальной маске. Ведь ею можно любоваться.

— Цепко хватаешь, — покосился на него Мишель. — И все же меня слушать не надо, я и впрямь отяжелел. Я слишком умен, вот моя беда. Я могу понять и объяснить все, даже ехидную фантазию нашего друга Скворцова. Я способен мыслить за нескольких сразу. Как ты играешь

в шахматы сам с собой — да еще на двух-трех досках. Я произвожу идеи и для Тамары, и для любых ее оппонентов. Технари ценят вольную игру ума, хоть им бомбу закажи. А она производит для меня пропитание. Вот, если хочешь, модель современного симбиоза. У меня по сути нет своего, у нее тоже. А у нас — есть, и это великое дело, уверяю тебя. По-настоящему сложен я лишь в сочетании с ней. Беда в том, что во мне все же тикает механизм. Время подлаживается под меня, вот в чем дело. Я зависим от него, я плаваю в нем. Все мои идеи, вольные парения, отстраненность — все — оно приводит к своему знаменателю. Я просто стараюсь об этом не думать. Сознать, что пропускаешь сквозь себя время... сложное, драматическое... черт знает какое — слишком трудно, ответственно, невыносимо. Иногда я это чувствую. Вот сейчас, когда говорю с тобой... я сейчас, как никогда, свободен. Но жутковато становится. И жалко себя. Мы слишком давно живем, да. Но мы живем впервые. И между прочим, в последний раз. Скажи это своему Глебу Ивановичу. Он при всех своих вольностях хочет все-таки щадить себя. Правильно. А кто не хочет? Учти, — Шерстобитов погрозил Цезарю пальцем — очень серьезно, хотя рот его продолжал усмехаться, — тут я действительно выдал откровенность... разбередили вы меня... сам не знаю чем...

Последние слова он произнес еще замедленней, чем обычно, и замедлял с каждым звуком, ошеломленно глядя вниз перед собой: у шахматной доски рядом с пустой кружкой он увидел руки масочника, протиравшие платочком очки; с очков прямо на Мишеля смотрели воспаленные глаза с красными веками, и левый глаз, высвобождаясь из-под грязного платка, каждый раз понимающе помигивал Шерстобитову. Он даже не сразу опомнился, чтобы поднять взгляд на лицо масочника, — но в этот момент очки уже были на месте, глаза смотрели с них простодушно, как ни в чем не бывало. В следующую секунду они округлились испуганно, потому что Шерстобитов грузно вскинулся, чтобы заглянуть Цезарю поверх очков, но при этом пошатнулся, сбив шахматную королеву, и тут же наступил на нее; фигурка выстрелила из-под его каблука под соседний стол и там остановилась, закругляясь вокруг собственной головки. Масочник, испугнутый, вскочил одновременно с ним. В тот же миг репродуктор взвизгнул нормальным женским голосом и повел к концу свой быстрый куплет; голубь, взмахнув крыльями, скрылся за деревом;

очередь у ларька ожила и заволновалась, буфетчица протянула страждущему наполнившуюся наконец кружку. Парковые часы показывали двадцать минут первого, и Мишель Шерстобитов с привычным автоматизмом отметил, что они спешат на минуту. Их блицпартия продолжалась немногим более четырех минут и пришла к обоюдному эндшпилю, который и предсказывал в своем комментарии гроссмейстер Тартаковер; к сожалению, сбитая фигура смешала позицию, и осталось непроясненным, прав ли он был в своем утверждении, что последующая жертва пешки позволяла черным добиться ничьей, или целесообразней было бы разменяться наконец ферзями, что, впрочем, тоже приводило к ничьей с еще большей вероятностью.

#### 4

Самым странным в событиях этого месяца было то, что впоследствии трудно даже оказалось вспомнить и уразуметь, что же, собственно, произошло; невозможно было ухватить ничего положительного: так, игра эмоций, тень, замутившая самочувствие, одурь, угар, не удивительный при той достопамятной московской жаре, когда деревья среди лета желтели и теряли листву, петухи и люди невесть с чего начинали метаться по дорогам, а воздух был отравлен дымной мглой, от которой слезились глаза и возникали галлюцинации. Лишь одна Ксена, пожалуй, с самого начала как-то связывала эти события с появлением масочника, хотя недоумения и вопросительные знаки именно тут-то и начинали валить косяком.

Взять хотя бы прелюбопытную историю с лингвистом Богоявленским, к которому Скворцов однажды привел для очередной демонстрации своего феномена-протеже. Богоявленский был человек примечательный. Белозубый атлет, молодой доктор наук, он знал, по его собственным утверждениям, девятнадцать языков, причем сплошь редчайших, на каждом из которых во всем мире говорили сотни, а то и всего десятки человек. Самый же редкий язык, язык вымирающего племени малапагосов с одного из островов Молуккского архипелага, знали кроме Богоявленского (и, конечно, самих малапагосов) еще только двое: один американец и один голландец; изредка они устраивали втроем международные конференции, проходившие, по словам прессы, в теплой и дружеской обста-

новке. Скворцов рассказывал, как в начале знакомства Богоявленский выиграл у него пари, заявив, что первый же встречный чистильщик обуви надраит ему ботинки бесплатно. Как и многие из московских представителей этой профессии, чистильщик оказался айсором; лингвист заговорил с ним на его родном языке, почти столь же редком, как малапагосский (он уверял, что владеет им лучше самих айсоров), — и Скворцову осталось утешиться лишь тем, что растроганный чистильщик за компанию бесплатно вычистил ботинки и ему...

Цезарь у Богоявленского держался до крайности нервно и задерганно; внезапные переходы его настроения могли озадачить. То он был неуверен и сконфужен — воплощенный комплекс неполноценности, то, ободренный доброжелательством, нечаянно оказывался развязан до наглости и тут же спохватывался, вспоминал свое место, извинения ради пускался в безудержные восторги — плебей, одичавший в уединении и не знающий, как себя вести, суетливый мотылек, угодивший к свету и неспособный сам повернуть обратно: бьется в непонятной траектории, сыплется с крылышек светящаяся пыльца — и ведь поневоле притягивал внимание, чем-то задевал. Чем? Может, неожиданностью, необычностью, может, тревожащей трепетностью, намеком на что-то, что скрывалось за этими простодушными спазмами?.. Вдобавок, он поразил хозяев некоторой осведомленностью в основах малапагосского языка, очередной раз уверив, что слышал на эту тему лекцию самого Богоявленского; когда лингвист, наморща выпуклый лоб, сказал, что не помнит такой лекции, масочник с жаром напомнил ему день и час выступления, заставив Богоявленского только развести руками...

Так вот, через несколько дней после этой встречи довольно широко разнесся слух, что на Богоявленского в институт пришло анонимное письмо. В письме утверждалось, что вышеупомянутый доктор наук на самом деле никакой не доктор, что диплом у него — липовый, что он не знает ни одного из своих девятнадцати языков, а пресловутый малапагосский, по которому объявил себя главным специалистом, собственноручно сконструировал искусственным путем — со всей его фонетикой, синтаксисом, морфологией и даже фольклором. Не так ведь уж трудно придумать несуществующий язык, благо никто проверить не может, поскольку племя малапагосов, как подчеркивалось во всех предисловиях, обитает в особо трудно-

доступных районах, если вообще существовало в природе. Оба зарубежных малапагосоведа, и американский и голландский, объявлялись такими же аферистами, как сам Богоявленский, а все они вместе — спевшейся международной шайкой. В письме упоминались и фокусы с чистильщиками-айсорами (оказывается, их жертвой был не один Скворцов), которые также объяснялись нехитрым сговором в целях получения прибыли.

Разумеется, всякая анонимка, да еще такая анекдотичная, заслуживала лишь быть пущенной в корзину — но, как и всякая же анонимка, побудила сотрудника институтского отдела кадров так, для собственного интереса, порыться в личном деле Богоявленского. Можно представить его смущение, когда в этом деле он не нашел копии не только докторского диплома, но даже просто университетского. Зато вместо них всплыл невесть как затесавшийся сюда исполнительный лист на взыскание алиментов от женщины, которая до сих пор числилась законной супругой Богоявленского, а также совсем уж странная бумажка с рядком сомнительных цифр. Бумажка, допустим, напоминала запись ресторанного счета, но что она могла означать в личном деле, где не должно быть ничего случайного?.. А тут еще стало известно, что американский малапагосовед совсем недавно выступил с очень, очень нехорошей статьей ненаучного характера, которая, понятно, бросала тень сомнения и на его научную репутацию; поневоле вспомнилось, что Богоявленский чуть не ежегодно встречался с этим американцем и регулярно с ним переписывается. Естественно, подозревать его ни в чем не собирались (хотя бывало всякое; и за докторов выдавали себя аферисты), но на всякий же случай попросили принести подлинники обоих дипломов — и вдруг услышали в ответ, что он недавно их потерял вместе с некоторыми другими документами при переезде на новую квартиру. Согласитесь, история закручивалась пределикатная...

Да, но при чем тут был масочник? Ксена не смогла бы этого объяснить даже самой себе. Тут было пока смутное чувство, которому она всегда верила больше, чем логике, и которому была обязана драгоценнейшими своими прозрениями, интуиция, не обоснованная ничем, кроме совпадений, которые вполне могли быть случайными. Почти в то же время, например, стало известно еще об одной анонимке, не менее фантастической, чем на Богоявленского, но еще более дерзкой, поскольку она замахивалась на Ива-



на Нилыча Фомичева, заместителя редактора одного из видных наших изданий. Уж к нему-то масочник не мог и носу показать, к нему и Скворцов не был особенно вхож, и знакомство Глеба с обоими адресатами было единственным, что объединяло эти истории, прогремевшие вскоре по всей Москве. Иван Нилыч был знаменит как человек своеобразной честности; о нем так и говорили в кулуарах: наш честный Иван Нилыч. Добился он этой репутации подкупающей откровенностью: услышав от кого-нибудь сомнительный анекдотец или досадное мнение, он тут же мягко предупреждал: «Вы уж меня извините, дорогой, но я люблю, чтоб не было никаких недомолвок и задних мыслей: об этом анекдоте я должен буду сообщить начальству». В результате никто, кроме людей случайных и неосведомленных, не заводил в его присутствии сомнительных разговоров, и Иван Нилыч наслаждался ощущением собственной лояльности, заслуженным доверием сотрудников и впечатлением полной стерильности в окружающем его коллективе. Представьте же парадокс: анонимщик, скрытый под провинциальным псевдонимом Откровенный, утверждал, что большая часть анекдотов, которую Иван Нилыч передавал по инстанциям, им же и сочинялась. В подтверждение этой дикой версии приводились два факта, действительно имевших место. Первый: несмотря на многолетнюю сдержанность сотрудников, Фомичев все-таки регулярно имел что сообщить вышеупомянутым инстанциям. Во-вторых, некоторые лица, будучи раз-другой вызваны для объяснений, озадаченно обнаружили, что им инкриминируются вовсе не те анекдоты, которые они, может, и знали про себя, а совершенно оригинальные, свежие, изысканные произведения, преимущественно в жанре абсурдном, или, по другой терминологии, абстрактном. Иван Нилыч объявлялся, таким образом, не только их талантливым автором, но и хитроумным распространителем.

Стоит ли говорить, что, подобно жене известного римского императора, Фомичев был человеком вне подозрений. Парадокс обоих случаев заключался, однако, в том, что гнусные инсинуации, непонятно каким путем ставшие достоянием гласности, вызвали у публики интерес исключительно сочувственный. Все-таки жаждут люди в душе романтических коллизий и тоскуют по личностям, достойным стать героями детектива. Ведь если б (дай бог!) подтвердилось, что лингвист Богоявленский, действитель-

но не зная языков, десять лет мог подвизаться на докторском поприще, да еще сконструировав при этом фантастическую грамматику, — можно было бы сказать себе, что ты был знаком с человеком поистине гениальным, а это, согласитесь, не столь частая честь. То, что сам Богоявленский в этой истории выглядел невозмутимым и даже не предпринимал никаких усилий по розыску утраченных документов, увеличивало к нему уважение, но отнюдь не ослабляло подозрений или, если угодно, надежды. Что же касается Ивана Нилыча, то он уже авансом возвысился во многих глазах, и не один язвительный остроумец с раскаянием, а отчасти и с завистью корил себя за непроницательность, нетонкость в отношении этого поразительного человека. Раздражительность и дурное настроение самого Фомичева, которые доходили до небывалого прежде самодурства и связывались с действием анонимки, усугубляли подозрения ничуть не меньше, чем великолепная невозмутимость лингвиста.

Но опять — уж тут-то при чем был масочник? По логике здравого смысла, очевидно, ни при чем; но как уже было сказано, эта логика вовсе не почиталась Ксеной за высшую инстанцию. Если другие впоследствии объяснили причуды этого лета, а может и возникновение масочника, небывалой жарой, то она в секунды наивысшего озарения готова была, наоборот, и саму жару эту, которой не предсказывал ни один прогноз и которую впоследствии смехотворно пытались объяснить каким-то особенным сочетанием пятен на Солнце, и даже недавние выходки собственного мужа Андрея связать с появлением этой щуплой фигурки в чернильном пиджачке, со смешным мясистым носом, расплывчатым ртом и глазами, нарисованными на стеклах. Мистика? Допустим; кто-кто, а она этого слова не боялась. Она думала, сопоставляла, вникала.

— Ну, как поживает Мишель? — звонила она как бы между прочим Тамаре; слухи о том, что Шерстобитов все-таки ушел из дома, становились все настойчивей, хотя Тамара об этом умалчивала. — В командировке? Не могу поверить! И надолго? Не позднее, чем через три дня? А вдруг задержится? — пробовала намекнуть она. — Почему ты так уверена?

— У меня технические расчеты, — с усмешкой в голосе отвечала Тамара и переводила разговор на Гошу, который после юга все больше ее озадачивал.

— Вчера он сказал, что хочет стать — кем бы ты думала? — карточным джокером. Почему? А потому, говорит, что джокер может объявить себя кем угодно. Может стать меньше самой маленькой шестерки. Но если понадобится — побьет туза. Ты знаешь эту игру? Тут во дворе один преподаватель организовал группу по английскому языку, пришлось его записать. Он каждый день просится на занятия. Надо мальчику отдохнуть, он хочет уже в школу. Что из него вырастет?

«Ох уж эти материнские сетования, — думала Ксена, — замешанные на гордости и тщеславии...»

— Кстати, — вставляла она, — наш новый приятель масочник у вас не появлялся? — Она так и называла его — не по имени, а масочник, хотя масок его никто, кроме Скворцова, так и не видел, да и его самого Глеб как будто уводил от повторных встреч.

— Нет, — говорила Тамара, и даже по телефону можно было понять, как она сощурилась. — А ты, я смотрю, заинтересовалась этим молодым человеком...

Заинтересовалась?.. Неужели это можно было назвать и так?

Ксена стала ловить себя на том, что среди улицы оглядывается в надежде случайно увидеть эту приметную фигуру в чернильном пиджачке, это голубоватое лицо с мясистым носом и оттопыренными ушами, за которые едва держались дужки очков. И однажды, не веря себе, в самом деле увидела масочника на улице Горького, недалеко от памятника Пушкину. Увидела — да так обмерла, что не смогла тронуться с места, и опомнилась, когда тот уже затерялся в толпе. «Ого, что это со мной?» — усмехнулась она и на другой день опять наведальась к тому же месту. Она подкарауливала его, как девчонкой-школьницей подкарауливала у подъезда артиста, в которого была влюблена. И этот фантастический тип опять не заставил себя долго ждать; правда, Ксена увидела его на другой стороне улицы, в начале Страстного бульвара, затуманенного дымным пологом, особенно густым в тот день; ей пришлось затратить время на подземный переход, но на этот раз она его не упустила. Масочник шагал куда-то размеренно, глядя перед собой... И, не отдавая себе отчета зачем, она внезапно пошла за ним. Смешно: как сыщик из кинофильма, в стрекозиных желтых очках,

закрывавших полщеки, стараясь, чтоб он ее не заметил. Но он и не смотрел по сторонам, он шагал легко и ровно, точно тело его просто так несло в тяжелом дымном воздухе, а ноги болтались без труда, поскрипывая по раскаленному песку подошвами огромных туристских башмаков — неснашивающихся башмаков из коричневой кожи с толстенными, как копыта, подошвами, на которых можно обойти полпланеты, и они не сотрутся ни на микрон, а также топтать по угольям хоть в самой преисподней, не обжигая себе пяток. Что-то величественное было в этой беззвучной невозмутимой поступи. Он прошагал по бульвару до Никитских ворот, затем так же ровно проследовал по улице Герцена к центру, там еще раз свернул влево, вышел на улицу Горького у Центрального телеграфа и двинулся дальше вверх. Наконец Ксена отстала от него, остановилась против памятника Пушкину, загнанная, разгоряченная, со слезящимися от дыма глазами — и неспособная объяснить себе, за чем же она гналась.

Если бы у Ксены достало сил пройти за Цезарем дальше, она могла бы увидеть, как он свернул с центральных улиц и углубился во мглу запутанных узких переулков; уверенной походкой человека, уже бывавшего здесь, достиг странного, составленного из двух разноэтажных половин, дома и так же уверенно — не меняя при этом размеренности своего шага — взошел на второй с половиной этаж. Да, совершив круг, подобный тому, что совершают перед посадкой самолеты или голуби, он направился к Нине; Глеб Скворцов несколько дней назад привел масочника и к ней.

А вернее сказать, тот сам увязался к ней за Глебом. В Москве наедине со Скворцовым Цезарь становился каким-то въедливо-прилипчивым, готов был льстить, уживаться — очень ему понравилось в роли протеже. А может, и впрямь интересны были новые знакомства после столь долгого одиночества; он был упоен этим медовым месяцем. Да и у самого Глеба, что таить, появилась за короткое время не просто привычка — потребность видеться с масочником: кроме Нины, это был единственный человек, с которым он вспоминал свой голос. К тому же эти встречи льстили его самолюбию: в каждом, если копнуть, живет соблазн хоть с кем-то почувствовать себя вершителем судеб и даже немного деспотом, желательно восточным... При всем

этом он не мог дать себе отчета, почему ему так не хотелось вводить Цезаря к Нине. Он ведь собирался это сделать, даже именно этот визит особо планировал. Но какое-то ноющее чувство мешало, заставляло искать отговорки, неубедительные и на прилипчивого масочника не подействовавшие. Кончилось тем, что он сам себя спросил: а почему бы нет? — и познакомил Цезаря с Ниной.

В тот раз им пришлось звонить у дверей необычно долго; к удивлению Глеба, дверь открыли не старухи, а Нина; она тоже понадеялась на соседок и потому задержалась. Колдуний вообще было не видать, хотя Нина только что слышала их голоса с кухни; это выглядело даже странно. Пока они проходили в комнату, Глебу показалось, что в другом конце коридора, за дверью, приглушенно скрипнул красный шарло, но звук больше не повторился, и он решил, что это скрипнула дверь.

Цезарь поначалу сидел у Нины притихший, утерев свою болтливость; глаза с красными веками так и застыли на стеклах, уставившись на хозяйку. Потом заметил в углу плохонький Нинин репродуктор и, словно уцепившись за повод, поинтересовался маркой, стал обсуждать сравнительные достоинства разных репродукторов — разговорился.

— А знаете, я читал, как можно услышать. Радио вообще без репродуктора. Для этого надо двоим взяться каждому за один. Контакт проводки и приникнуть ухом к уху друг друга. Их барабанные перепонки сыграют роль мембран. Я сам не проверял, мне не с кем было, я живу. Уединенно, но я пробовал держаться за контакт один, и знаете — тоже. Слышно. Особенно если взять провод зубами. Я могу даже вовсе не держаться ни за что и слышать радио просто так, из воздуха. Честное слово, у меня феноменальная способность. Я почему и вспомнил об этом — потому что вот сейчас прямо слышу. В воздухе второй концерт для фортепьяно. Чайковского. Честное слово.

Глеб тоже прислушался.

— Это у соседей играет, — догадался он и захохотал. — Здесь такая квартира. Или из окна слышать! Ну, Цезарь, ты и хвастун!

— Нет, действительно музыка, — сказала Нина. — Только не фортепьяно, а голос поет. Я часто слышу. Вы думаете, это радио?

— А что же? — вдохновился поддержкой Цезарь. — Так подумаешь иногда: мы все пронизаны волнами. Черт

знает что! И человек чувствительный, вроде меня, все время слышит. Журчанье в ухе: зу-зу-зу, зу-зу-зу. Все на свете пронизывает, пронизывает. Прямо раздуваешься как пузырь от многообразия. В одно ухо: зу-зу-зу — международное положение. Китай, Америка, Африка, где-то кого-то. Убивают, кого-то похищают, жизнь шумит. В другое ухо — спортивные страсти, в третье: зу-зу-зу...

— А это еще откуда? — спросил Глеб.

— То есть?

— Третье ухо у тебя откуда?

— Ну это я так... фигурально, — смешался масочник.

Звук, напоминающий колесный визг, возник в пространстве и тотчас осекся. Воздух заволновался. Впечатление было такое, будто кто-то невидимый смеется беззвучно, зажимая рот ладонью. Тревожно было отчего-то на душе. Что они там действительно слышат? — опять прислушался Глеб. Уж тугоухости он за собой не замечал. Нина сидела, думая словно о чем-то своем, чуть прикрыв глаза. «Вот так она всегда слушала мои пародии, — подумал Глеб. — Она всегда принимала их слишком всерьез».

— Как у вас голоса похожи, — произнесла вдруг она.

— Ты находишь? — вскинулся Скворцов. — Вообще присмотрись к нему внимательно, в нем что-то есть. Остроумие, искренность, талант. Как ты считаешь? Да и внешность, ты посмотри. Лучше всего в профиль. Повернись, Цезарь.

Нина промолчала, масочник тоже, и в этой согласованности почудилось единодушие, почти сговор.

— Впрочем, вы и без меня разберетесь. Хочешь, Нина, скажу, что ты сейчас о нем думаешь? Ты думаешь: он очень одинокий человек. И ты, как всегда, права. Не спорю. Только, как ни странно, советую быть с ним поосторожнее... Кстати, Цезарь, ты на электричку не опоздаешь?

— То есть... что вы? Они до часу ночи... и вообще... я не боюсь в любое время, — забормотал масочник. — Но если вы в том смысле... я могу...

— Нет, нет, — остановила его Нина. — Никто вас не гонит.

— А мне пора, — тяжело поднялся Глеб, стараясь не встречаться с ней взглядом. — Думаю, с ним не соскучишься. Чего-чего, а это нет. Ты его приласкай, он и верно одичал без людей. Радио попробуйте услышать вдвоем — без репродуктора.

Он вышел, сопровождаемый скрипом своих шагов —

невыносимым, будто скребли по стеклу. Старух в коридоре по-прежнему не было. Воспаленная пыльная лампочка не освещала, а словно вызывала невидимыми лучами собственное чуть заметное свечение тесных стен, предметов, выступавших из сумрака. Глеб не оборачивался, но ему казалось, что Нина вышла за ним вслед. Уже за порогом, придерживая дверь открытой, он остановился, вслушался — и впервые слуха его коснулась будто едва различимая музыка: одинокий, просветленный и горестный голос, он становился все явственней, Глеб узнавал его, он уже звучал для него в этих стенах: лебединый крик, стон и трепет крыльев, напев смычка, мелодия движущейся жизни... Дверь сорвалась на тугой пружине, захлопнулась и, как бритвой, отсекала звук...

Он не сомневался, что Цезарь с тех пор навещался к Нине. Однажды Глеб даже чуть не столкнулся с ним по пути к ней — но отступил за угол, пропустил его, а сам повернул обратно. «Пусть еще немного потешатся, — подумал про себя с усмешкой. — Проверим уж все сполна». «Этюд о масках» как будто прояснялся, обретал очертания — но, пожалуй, уже и разрастался дальше предполагавшихся границ, в чем-то выходил из-под контроля. Надо было найти завершающую мысль, схватить что-то неизменно ускользавшее — и мешала не отпускавшая, нараставшая тревога. Он не знал, в чем дело. Неужели в Цезаре? Но это казалось смешно. Наконец он почувствовал, что должен все же увидеться с ним, объяснить толком.

Как раз в тот час, когда Ксена невесть зачем преследовала масочника по московским улицам, Глеб безуспешно ждал его в назначенном месте близ памятника Пушкину. Он лишь немного разминулся с масочником и, не дождавшись, поехал к нему за город.

Забор уже совсем накренился в глубь участка, решетчатая калитка с трудом проскребла по земле; красный петух Асмодей вышел из собачьей будки, царапнул когтем землю на пути у Глеба и замер посреди дороги. Скворцов, уже наученный, бесцеремонно отстранил его ногой. Дверь в дом не была заперта, и Глеб вошел в жилую комнату, сопровождаемый наглым петухом. В комнате ничего не изменилось, даже мусорные бумажки валялись как будто те же и на тех же местах; только на стене над электронагревателем появился красный цилиндр огнетушителя.

Скворцов огляделся, скучая, потом подошел к занавеске, отделявшей угол, отодвинул краешек и произнес удовлетворенно: «А-а...» За этой ширмочкой оказалось нечто вроде мастерской: на столе валялись кисти, стояли банки с красками трех цветов, в тазике мокла бумага для папье-маше, на отдельной доске громоздился ком глины, прикрытый влажной тряпицей. А на стене перед собой Глеб увидел новенькие, пахнущие клеем маски: здесь были и Тамара, и Ксена с иронической гримаской на милых губах, и Андрей, неузнаваемый без бороды; маска Шерстобитова нечаянно была подвешена вверх ногами — Скворцов иногда воображал этот фокус: Мишель был безбород и кудряв, но все равно похож на себя; был тут и Богоявленский и — что уж совсем странно — некто весьма похожий на Ивана Нилыча Фомичева: характерное лицо его напоминало отражение в елочном шарике: с уменьшенным лбом и подбородком, зато с увеличенной и выпуклой средней частью лица... да, это был, несомненно, он, хотя Скворцов ума не мог приложить, где Цезарю удалось увидеть этого обитателя журналистского Олимпа. Он огляделся в поисках еще одной маски, явно недостававшей; но портрета Нины здесь, видно, пока не было. Усевшись в разодранное кресло, Глеб принялся изучать славную галерею. Красный петух Асмодей, проникший и за ширмочку, замер, неотрывно наблюдая за ним, но когда Скворцов приоткрылся к нему внимательно, он увидел на глазах петуха желтоватую пленку: Асмодей стоя спал. По полу мимо него, как белый паучок, ползла многоногая пушинка репейника; петух, не открывая глаз, точно клюнул ее и проглотил. В комнате за занавеской само собой включилось радио; послышался шелест аплодисментов, потом скрипки и басы без сигнала принялись пиликать вразброд — с очевидным намерением показать, как нескладно у них получается без дирижера. Наконец новые аплодисменты подтвердили появление маэстро, но тут радио само собой выключилось. Глеб не заметил, как вздремнул. Сквозь дрему он слышал хриплый бой часов и, насчитав шестнадцать раз, очнулся. В закутке было темно, петуха Асмодея рядом не было, из-за занавески сочился электрический свет и слышался голос масочника.

— Изголодался, сволочь, — ласково говорил кому-то Цезарь. — Соскучился. Ползи, ползи. Интересно, чем вы, клопы, питаетесь, когда нет людей?.. Ну нет, не сейчас. Сейчас у меня нет настроения. Я устал, вымотался.



Ты не представляешь, как трудно иметь дело с этими интеллектуалами. Я лучше согласен целыми днями терпеть дурака Асмодея... Бурбо... я же сказал, не сейчас, — голос у него стал недовольным и брюзгливым. — Бурбо, не будь нахалом, я сейчас не расположен к шуткам. Ты слышишь меня?.. Ну, знаешь, я многое могу стерпеть, но хамства... последний раз предупреждаю!.. и наглости... Ах, ты так? Что ж, пеняй на себя...

Послышался звон металлической крышки, и масочник заговорил другим, писклявым голосом.

— Это уже не по-джентльменски, — заверещал он, изображая роль клопа. — Я не возражаю против права людей на карательные действия — се ля ви, я понимаю, когда нас придавливают ногтем и даже морят химикатами, — это нормальный конец. Но когда нас топят в ночной посудине — это уже варварство. Клоп тоже имеет право на достоинство и достойную смерть...

— Аве, Цезарь, — сказал Скворцов со смехом, откидывая занавеску. — А я даже вздремнул, тебя дожидаясь. Соскучился. Почему ты не ждал меня у памятника?

— Она за мной гналась, — мрачно сказал Цезарь.

— Кто?

— Ксена. Я от нее еле ушел. А когда вернулся на место, вас уже не было.

— Стоило ли убегать от такой очаровательной женщины?

— Я ее боюсь.

— Тоже мне... ксенофобия. Что она тебе сделает? Самое худшее — перекрестит. А вообще эта святая грешница не тебе назначена. Я сам уже плету для нее лапоток.

— Между прочим, я давно хотел у вас попросить, — залебезил Цезарь, — не могли бы вы и мне один...

— Я не люблю двусмысленностей, — хмыкнул Скворцов.

— Правда? — деланно изумился масочник.

— Ну-ну, — одернул его Глеб. — А ты, я смотрю, меняешься на глазах. Даже прыщи вроде сошли. Ты знаешь, у тебя уже репутация опасного сердцееда? Что в тебе находят женщины?

— Я немного похож на вас, — тщеславно предположил масочник.

— Ну это ты брось. Разве что голосом. И то, кроме Нины, никто, кажется, не замечает.

— Потом, я остроумен.

— Ну уж — остроумие для цирка!

— Да, вы-то сноб. Вы до цирка не унижитесь.

— Цезарь, не забывайся! — напомнил Скворцов. — Ты и так, я смотрю, многовато болтаешь. Мишель Шерстобитов чуть тебя не поймал.

— Может, и поймал, не знаю. Он не глупее нас с вами. Тем более вы с ним одной породы.

— Это какой? — насторожился Глеб.

— Шутники, — фыркнул масочник, пожимая разноцветными, без пиджачка, плечами. — Только в разных областях... А вообще, мне тоже некогда мотаться целый день по городу, — с неожиданным раздражением и вызовом добавил он, — видно, и впрямь был не в духе. — Да еще в такую жару. Вон вчера мне огнетушитель приволокли, платить пришлось. Просил я их, что ли? Только б деньги содрать.

— Ладно, ладно, — успокоил его Скворцов, почувствовав, что надо его и приободрить — не все же критиковать. — Ты вообще неплохо справляешься. Еще совсем немного постараться. Есть, кстати, идея: не выступить ли тебе с лекцией? Так сказать: «Мистика и мистификация с точки зрения масок». А? Могу подкинуть несколько тезисов. Скажем, так: одно дело подменять лицо маской, зная её цену, другое — творить из нее кумира... ну и так далее. Как ты находишь?

— Ха-ха, ужасно остроумно и глубокомысленно, — огрызнулся Цезарь.

— Да что с тобой сегодня? — поразился Глеб. — Ты опять был у Нины?

— Был.

— Интересно, о чем вы с ней разговариваете?

— Без вас не найду, о чем поговорить, — ухмыльнулся масочник.

— Ну, а она?

— Она больше слушает.

— И прикрывает глаза?

— Угу. Она очень серьезно ко мне относится, — похвастался он.

— Она всегда всерьез принимала мои шутки, — усмехнулся Глеб. — Хорошо еще, что от шуток дети не рождаются.

— Как знать... — многозначительно заметил масочник.

— Ого, — внимательно взглянул на него Скворцов, —

это мне уже нравится. Тыходишь в роль. Присматриваешься, как бы и с нее сделать маску?

— Мало ли что присматриваюсь, — Цезарь отвел взгляд в сторону. — Не со всякого получается.

— Как это не со всякого?

— Так, не со всякого.

— Что ж у тебя, способностей не хватает? — попробовал уязвить Глеб.

— Что умею, то делаю. Не могу ж я снимать кожу с живого лица. Я не ацтекский жрец.

— При чем тут ацтекский жрец?

— Это ацтекские жрецы на празднике жатвы танцевали в коже, снятой с только что убитой женщины.

— Откуда ты и это знаешь?

— Уж про маски-то я знаю не меньше вашего, — фыркнул Цезарь.

— И то верно, — миролюбиво согласился Глеб, заинтересованный его рассуждениями. — Так, по-твоему, есть лица, с которых нельзя снять маски?

— Теоретически все можно, — скривил губы Цезарь. — А я испытываю на практике. Кроме того, маски бывают только комические. А трагических масок не бывает.

— Невежда! — насмешливо сказал Скворцов. — И ты еще хвастаешься познаниями! А греческие маски?

— Какие? Это те, у которых рот полумесяцем вниз и глаза вот так? — Цезарь забавно искривил расплывчатый рот, и глаза его на очках тоже оттянулись уголками вниз. — Мало ли что можно назвать каким-нибудь словом! А вы ее попробуйте примерить — много в этом будет трагизма? Тут одна игра слов, омонимы. Если маска — то в этом ничего трагического, если трагизм — тут уж не может быть маски.

— Ты, я смотрю, не так глуп, — с любопытством заметил Глеб.

— Вашим умом жив, — съехидничал Цезарь; но похвала его, видно, смягчила, и он стал разговорчивее. — Нет, что говорить, — хохотнул он, — маски с трагическим выражением бывают очень забавны. А вообще, — разболтался он, — мне уже все эти примитивные рожи стали надоедать. Я хочу попробовать приняться за маски отвлеченные. Скажем, маска шутовская — на кого-то конкретно, а вообще, маска гордости, маска унижения, маска простодушия. Или даже такие: маска делового человека, маска свободного артиста, маска технократа... а может,

еще пошире: все, что служит для покрытия, для отвода судьбы, как вы пишете в своем сочинении...

— Что, что? — резко вскинул брови Скворцов. — В каком это сочинении? Ты откуда про это взял?

— Я?.. про сочинение? — забил отбой масочник. — Это в общем смысле, — попытался вывернуться он. — То есть что вы вообще большой сочинитель... и пишете...

— Цезарь! — помотал Глеб перед его носом пальцем. — Ты говори, да не заговаривайся. И помни свое место!

— Я... не имел в виду, — продолжал бормотать Цезарь. Но видно, сегодня ему и впрямь какая-то вождя попала под хвост, и обозленная строптивость оказалась сильней испуга. — А что вы мне, как собачонке какой: знай свое место!.. и пальцем грозите! У меня самостоятельная личность.

— Ах, уже самостоятельная! — передразнил Скворцов. — Да не забывай, что без меня ты ни для кого и не существовал бы. Я тебя пустил в свет. Ты без меня нуль, ничто. Ты делаешь то, что я задумал, но не более того. А начнешь наглеть — смотри, пожалеешь.

— Ну, это как сказать, — самолюбиво усмехнулся масочник. — Некоторое время тому назад — может, оно было и так. Я еще не утвердился, не освоился, не знал, как себя вести. Мне не хватало уверенности, да. Я вам, конечно, благодарен... А вообще, должен вам сказать, я не так прост, как вы, может, в уме думаете. Я даже, наоборот, сложен. Чего мне пока недостает, я понимаю, так это положения. Масочник — что это такое? Не профессия, ни то ни се. Я знал, например, одного остроумнейшего карлика. Остроумнейшего. Загадки очень хорошие задавал. Что такое: не лает, не кусает, а в дверь не пускает? Вот вы скажите.

— Замок, — хмуро сказал Скворцов, пытаюсь вникнуть в подоплеку развязной болтовни.

— Э, вот так вы и меня не отгадаете. А говорите! Сторож — вот это кто. Или, может, беззубая немая собака. Дело не в этом, а в том, что карлик остроумнейший. В былые времена он мог бы оказаться гениальным шутком при королевском дворе, прославиться в веках. Но сейчас такого места нет, должности. И остался он просто остроумным карликом, который числится по штату кем-то совсем другим. Вот вам хорошо: Глеб Скворцов, мастер юмористического жанра. Это понятно, это всех устраивает, вы на своей полочке. А со мной неловкость, я же чувствую.

Ну ничего, глядишь, все же преподнесу вам сюрпризец, — с неясным намеком добавил он.

— Что еще за сюрпризец? — встревожился Скворцов. — Ты мне смотри!

— А вы сами разве не хотели бы сюрпризца? — с мерзкой улыбочкой спросил масочник, сверля Глеба круглыми зрачками со своих очков.

— Смотря какого, — осторожно ответил Глеб.

— Знать — так неинтересно, — завеселился Цезарь. — Я вот никогда не знаю, что завтра выкинут мои твари. А хотите, скажу, почему блох дрессируют, а клопов нет? Потому что клопы — идиоты, их ничем нельзя пронять.

Глеб смотрел на этого ерничающего паяца с разноцветными щеками, которого совсем недавно для него и впрямь не существовало, но который теперь сидел перед ним во плоти и зубоскалил, и угрожал чем-то неясным, наполняя душу сосущей тревогой. Скворцов уже сам жалел, что был с ним неосторожен и раздражил своим высокомерием; но разговаривать теперь было бесполезно.

— Ладно, пойду, — сказал он, взглянув на часы. — А то на последний поезд опоздаю.

— Я вам посвечу, — услужливо завился перед ним Цезарь. — Осторожненько у крыльца. А то здесь все фонари разбиты, хоть глаз выколи. Я, правда, не понимаю, какой смысл выкалывать глаза, если от этого все равно не станешь лучше видеть.

— Ну хватит, хватит, — устало отозвался Скворцов. — Скажи лучше, ты в звездах разбираешься? Видна тут цыганская звезда Сантела?

— Как же, как же, сейчас покажу, — засуетился Цезарь, направляя вверх свой электрический фонарь; светлый лучик пробежал по черному непроницаемому небосводу и остановился возле яркой одинокой звезды.

Глеб Скворцов следил за ней еще долго из окна электрички, потом она скрылась из виду. Когда он приехал в Москву, небосвод уже затянуло ночными облаками. Неясная сосущая тревога, зароненная дурацким словцом, не улеглась. Не доезжая до своего дома, Глеб велел таксисту завернуть в знакомый переулок, там отпустил его и сквозь арочный проем вошел в глубь двора-колодца, такого беспросветно-черного в эту ночь, что здесь терялось представление не только о странах света, но и о левой и правой стороне, даже о верхе и низе. Глеб не знал, где

искать окно Нины, да все окна были и темны — кроме одного, не то на третьем, не то на втором этаже; а впрочем, трудно было судить — его квадратное пятно одиноко висело в черном воздухе. Окно было закрыто белой занавеской, по занавеске двигалась тень женщины. Женщина медленно вскидывала оголенные руки, прогибалась и поворачивалась — она танцевала под неслышную, немую, самозабвенную музыку, и Скворцов не знал, сколько это длилось. Потом тень будто надломилась, упала вниз и исчезла, но свет в квадратном окне продолжал гореть и не гас, пока Глеб его видел.

## 5

Спать Скворцов лег уже под самое утро и как будто не заснул даже — плыл над самой поверхностью сна. Ему снился белоснежный козленок с рожками, золочеными солнцем, на фоне синего прекрасного неба, с перевернутым миром в глубоких зрачках, и что-то еще, важное, мелькнувшее, но тут же спугнутое ворвавшимся в сон звонком. Он проснулся, вскочил. День за окном был уже в полном разгаре — со знакомым звоном и верещанием. Скворцов вышел открывать в одних трусах, как всегда, не спрашивая кто, и невольно смутился, увидев перед собой одновременно Тамару и Ксену.

— Прости, что побеспокоили в такой ранний час, — усмехнулась Тамара с заметной нервностью. — Ты один? Дело в том, что мы ищем твоего... как его?.. масочника.

Тут в объяснение вступила Ксена, и Глеб понял следующее. Часа два назад Ксена проходила мимо дома Шерстобитовых и увидела в сквере этого самого Цезаря вместе с Тамариным Гошей. Оба были увлечены дрессировкой большого серого кота. «Команду «кс-кс» мы уже отработали, — говорил масочник, — теперь будем отрабатывать команду «брысь». Ксену эта сцена заинтересовала: для нее было новостью, что масочник бывает у Шерстобитовых и уже так дружен с их вундеркиндом; да и сам вундеркинд выказывал себя неожиданно. Поэтому она изменила свой путь и заглянула к Тамаре. Та вначале не приняла всерьез ее известия (сообщенного, надо полагать, не без иронической подковырки). «Тебе померещилось», — махнула она рукой. Во-первых, объяснила Ксена, Цезарь в их доме действительно не появлялся и с Гошей не был знаком; во-вторых, мальчик отправился, как всегда, на занятия по английскому — это в

доме напротив, — и он не из тех, кто без спроса станет переходить через дорогу в сквер; в-третьих, серая кошка (впрочем, может быть, и кот)... Но пока она это говорила, уже почти убедив Ксену, ей все больше становилось тревожно; она наспех привела в порядок лицо и поспешила с Ксеной к учителю английского. Услышав, что последнюю неделю мальчик в группе вовсе не появлялся («Я как раз собирался выяснить, отказались ли вы от занятий»), Тамара кинулась в сквер — Гоши там не оказалось, как, разумеется, и масочника, во дворе — тоже. Обе не знали, что и думать, вспомнили о Скворцове...

— Глупости, — сказал Глеб. — Небось зашел в гости к приятелю.

Ему было неловко стоять перед женщинами в одних трусах, звук собственного голоса, еще как бы продирающего спросонок, вызывал странный озноб по спине — и он не сразу догадался: это был его прежний, обычный голос. От этого открытия почему-то сжалось сердце, будто он очнулся от наваждения, но вернувшаяся действительность оказывалась еще тревожней. Прислушиваясь к себе для проверки, он стал успокаивать Тамару, посоветовал ей с Ксеной идти домой — глядишь, парень уже ждет у дверей... да, он не ошибся, голос был его.

Отослав женщин, Скворцов тотчас оделся и выбежал на улицу. Ему повезло: прямо против подъезда затормозило такси. Глеб дал шоферу адрес Нины и прижался к спинке сиденья, чтобы хоть как-то утихомирить озноб, донимавший, несмотря на духоту. Он мешал сосредоточиться, вспомнить что-то, мелькнувшее в спугнутом сновидении. «Сюрпризец... ах, сукин сын... чернильное семя, — бормотал он, вызывая удивленный взгляд шофера из зеркальца. — Ну, погоди, поймаю — выпорю...» Такси уверенно пробралось сквозь путаницу переулков и остановилось у подъезда. Глеб взметнулся по лестнице.

Дверь на звонок открылась тотчас. Красноволосая старуха с расплывшимся лицом смотрела на него из сумерек коридора.

— Вам кого? — спросила она испуганно, и красный шарло скрипнул из ее передника.

— Здравствуйте, — сказал Глеб, как всегда, стараясь поскорее протиснуться мимо. — Я к Нине.

— К какой Нине? — выпучила глаза баронесса и окончательно загородила ему путь своим просторным телом.

— Ну, к вашей соседке. — Скворцов с трудом улыб-

нулся, пробуя стать обаятельным.— Вы меня опять не узнали.

— Здесь нет никакой Нины, вы ошиблись!— в полном ужасе взвизгнула старуха.

— Кто там? — слышалось из недр квартиры.

— Какую-то Нину спрашивают, — заныла баронесса.— Врываются, как мазурики... куда вы?.. хулиган! Карлуша, скажите ему!

Песик тьякнул, оскалив игрушечно-фарфоровые клыки; но Глеб Скворцов уже протолкнулся мимо нее в узкий коридор и дальше, к дверям Нины. Дверь сама распахнулась ему навстречу, из нее выкатила на паралитической коляске Анфиса Власовна в красной косынке на коротких седых волосах.

— Вам чего надо? — резко спросила она, не меняя выражения тощего лица с навечно прошитыми и стянутыми губами.

— Здесь, в этой комнате, жила Нина... такая девушка... с матерью, — пролепетал Скворцов, уже холодея от предчувствия катастрофы; в раскрывшуюся дверь он успел увидеть проем, когда-то завешенный пологом, за которым была комната Нининой матери; теперь полога не было, за проемом светилась пустота.

— Какая такая Нина? — агрессивно закричала старуха, тесня Скворцова передком своей коляски.— Это моя жилплощадь! Я, может, сорок лет стою на очереди!

— Эта квартира вообще целиком принадлежала мне, — захныкала баронесса, и песик из ее кармана залился в подтверждение своим гнусным лаем, от которого шли по спине мурашки, как от скрипа ножом по стеклу.

У Глеба было ощущение, словно он еще не проснулся, лишь перебрался из одного абсурда в другой — надо было вырваться к воздуху, он уже задыхался.

— Да я не собираюсь оспаривать вашу жилплощадь, — отчаянно силился внушить он старухам.— Но здесь прежде жила девушка, маленькая, смуглая, похожая на цыганку, с парализованной матерью... Анфиса Власовна... Регина Адольфовна... — знанием имен попытался он доказать, что бывал здесь и осведомлен в обстоятельствах, — но этим, кажется, еще больше ужаснул старух.

— Здесь никто никогда не жил, кроме нас! — твердила Анфиса Власовна.— И каталка эта моя по закону! У меня муж посмертно реабилитирован! Я знаете куда могу жаловаться?



— У меня есть документы,— хныкала баронесса.— Как вам не стыдно шантажировать бедных одиноких старух?

— Вы не имеете права врываться! Хулиган! — продолжала наступать на Глеба своей коляской Анфиса Власовна, а забавник шарло дополнял бесшумный ход ее транспорта звуками колесного визга.

Наконец совместными усилиями они вытеснили Скворцова за порог и ловко захлопнули дверь. Заколдованный песик, почуяв безопасность, разгулялся теперь во всю мощь своего карличьего горла; Глеб Скворцов слышал его скрипучий старческий смех, пока спускался по лестнице, и долго еще потом на улице: он перерос в трамвайный лязг и визг тормозов, он преследовал его через всю Москву и смешался с грохотом электрички, увозившей Глеба за город, где еще только и оставалась надежда поймать этого растреклятого проходимца с наглой ухмылкой, которого он, можно сказать, сам так многозначительно выпустил в свет.

Уже подъезжая к станции, Скворцов из окна увидел над дачным поселком тучу черного дыма. Он даже не поежился; было ощущение, что и это он ожидал. Когда Глеб прибежал к даче, пожар был уже потушен; неизвестно кем пущенный красный петух летел, вытянув шею, где-то далеко в небе, и только местами среди головешек вспыхивали иногда его случайные перышки. Толпа зевак расходилась, обтекая Скворцова; он в последней надежде прочесывал встречный поток взглядом, понимая уже, что Цезаря в нем не увидит. От всего дома чудом осталась цела только собачья будка, да среди углей обгорелый ночной горшок. Вдруг, всмотревшись, Глеб увидел у самых своих ног обугленную черную маску, еще хранившую очертания человеческого лица; но стоило до нее дотронуться, как и она рассыпалась, смешавшись с прочим пеплом.

Глеб медленно пошел прочь; он почувствовал вдруг невероятную усталость. Это была не прежняя опустошенная усталость, она тяжестью наваливалась на плечи, ныла в сердце. Лягушонок, не успев выскочить из-под его ноги, пискнул, накрытый тяжелой подошвой. «К дождю», — вспомнил приметку Глеб, что, правда, не давало ему оснований гордиться особой проницательностью, ибо туча дыма над пожарищем давно уже сгустилась в черную грозовую пелену, постепенно закрывавшую все небо, и он не видел

этого лишь потому, что вообще ничего не видел. Дождь хлынул сразу потоком, но Глеб под деревьями вначале его не ощутил; исстрадавшаяся листва жадно впитывала всю воду, не давая упасть на землю ни капле, притягивая своим сухим дыханием даже отдаленные струи — но оставаясь сухой, пока не насытилась; тогда лишь она поделилась влагой с землей. Скворцов тем временем уже был на станции — и прямо поспел к открытым дверям электрички. Окна в вагоне никто не закрывал, струи захлестывали на сиденья, и у людей по лицам расплзались улыбки, словно у бедуинов, после бесконечной пустыни увидевших наконец оазис. Туча мчалась вровень с поездом в сторону Москвы, точно зацепившись за него, — долгожданная очистительная туча, сулившая конец суши и угару, просветлявшая лица и мозги, и молнии за окнами блистали, как озорные подмигивающие ухмылки...

Когда он, промокший и оглушенный, добрался до Шерстобитовых, все семейство оказалось в сборе. Дверь открыл Мишель: полчаса назад он приехал из командировки, тоже угадал под дождь, и свежесть, исходившая от него, была сегодня особенно ароматной, настоянной на душистой сосновой хвое. Тамара и Ксена сидели в разных углах комнаты на стульях, словно обессиленные, опустились, где пришлось, и теперь не имели воли переменить позу. Гоша гладил на диване серого кота.

— Нашлись? — проговорил вместо приветствия Глеб.

— Ой, — махнула рукой Тамара и кончиком мизинца стерла под веком тушь. — Нет сил все рассказывать. До сих пор... Прости, что тебя всполошили. Прятался с этим котом где-то на задворках. И, оказывается, это не первый день. Если б я знала, я бы ему достала десяток кошек. Еще немного, и я бы...

— Где ты его разыскал? — тихо спросил Глеб, присаживаясь рядом с мальчиком.

— Он сам меня разыскал, — ответил тот, не поднимая глаз; куда девалась обычная его восхитительная разговорчивость. — Он меня любит, — добавил после паузы.

— Каков зверюга, а? — подал голос Шерстобитов. — Из каких лабиринтов выбрался! Ты не представляешь, в какую даль я его унес. Инстинкт.

Глеб дотронулся до Гошиного плеча, потом отнял руку. Мальчик не шевельнулся.

— Собираешься его дрессировать?

— Он и так дрессированный.

— А то у меня есть... знакомый, — осторожно попробовал Глеб, — тоже дрессировщик мелких животных.

Мальчик отнял руку от кота, замер.

— Как его назовешь? — попробовал по-другому Глеб.

— Зачем его называть? Его и так зовут. Платоша.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, — пожал тот плечами и впервые взглянул на Глеба печальными зрачками; прекрасный перевернутый мир отражался в них. «Откуда знают, как зовут звезды?» — говорил этот взгляд. Но тут же мальчик опустил ресницы. — А фамилия Шерстобитов, — добавил он.

Мишель, издалека прислушивавшийся к разговору, некстати расхохотался.

— Шерстобитов, совершенно точно! Есть в нем что-то фамильное, ты посмотри. Не случайно же чувствует себя нашим. Чем-то на меня похож.

Кот, умывавшийся за ухом, как раз замер с задней лапой у щеки, точно застигнутый внезапной мыслью, сидел не шевелясь; какой-нибудь кошачий Роден мог бы сейчас и впрямь взять с него своего Мыслителя.

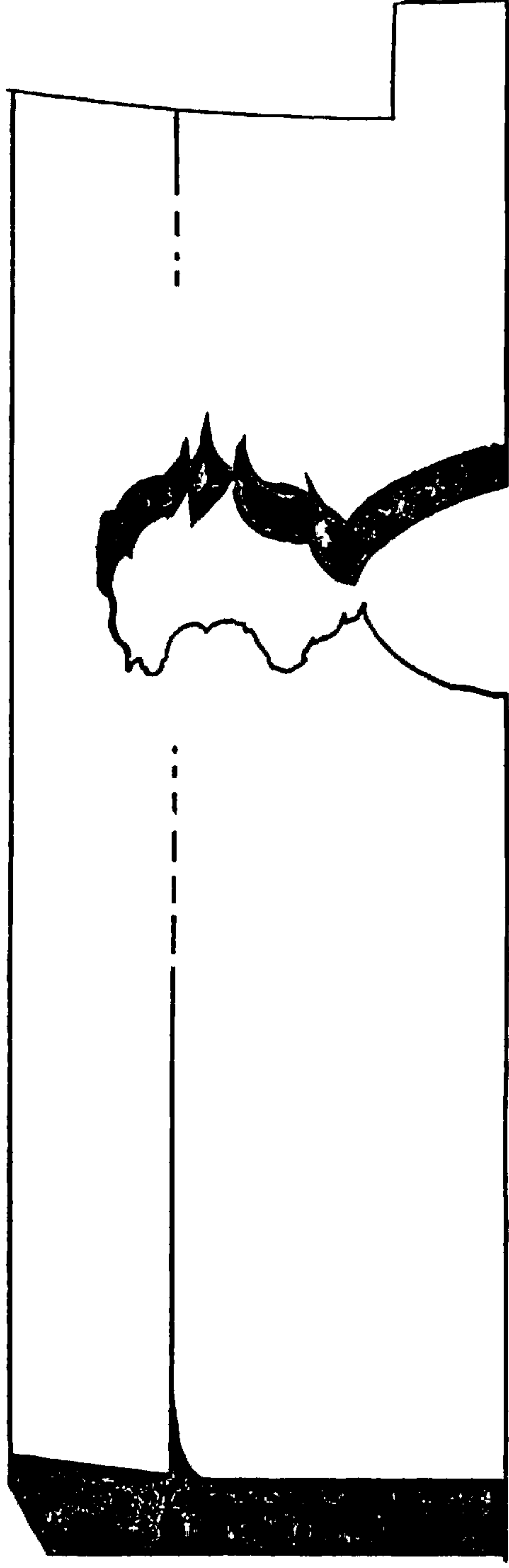
И странно: все тоже замолкли, никто не решался первым вмешаться в установившуюся тишину. Лицо Тамары с покрасневшими от пережитого, измазанными тушью веками, было постаревшим, но вместе каким-то девчачьим, беззащитным. Она приткнулась к плечу Мишеля, и Скворцов вдруг подумал, что ни разу прежде не видел их не только обнявшимися, но просто так рядом: в самом деле муж и жена. Житейская пустяковая тревога, благополучно окончившаяся, — отчего так по-настоящему стало всем не по себе? Глеб ждал и почему-то боялся, что сейчас его спросят наконец о масочнике... Он посмотрел на Ксену — она сидела в уголке особняком, непривычно задумчивая, чуть приоткрыв губы: девочка, еще не оправившаяся от сказки с неясным концом. Боковым зрением Ксена уловила взгляд, с лицом ее сразу что-то случилось. Не дрогнула ресница, не шевельнулась мышца, но что-то ушло с лица, оставив неотличимо похожий слепок.

— Да, кстати, — подала голос она, — вы слышали про Богоявленского? У него оказалось все в порядке. Какая-то французская экспедиция недавно выяснила, что малапагосы — те самые — действительно существовали.

— Когда-то, когда-то, — уточнил Шерстобитов, — но к

*Жена філософа*

**ФИЛОСОФ**



*Художник Актриса*

**СКВОРЦОВ**

**Баронесса**



настоящему времени, увы, они полностью вымерли. А ту нехорошую американскую статью — помните? — написал, оказывается, не приятель Богоявленского, а какой-то действительно сомнительный однофамилец.

— Приятель тоже написал, — не уступила в осведомленности Ксена.

— Э, по нынешним временам кто не пишет? — хмыкнул Мишель. — Да, Глеб, все хочу у тебя спросить...

— Тс-с, — поднесла палец к губам Тамара, и Скворцов не сразу понял, почему она так оборвала мужа. — Гошато, смотрите, заснул. Надо его перенести в ту комнату.

— Я перенесу, — поспешил вызваться Глеб. Осторожно поднял мальчика вместе с котом, лежавшим в его объятиях, помедлил в ожидании, что Мишель закончит вопрос — не дождался...

В маленькой комнате с полузакрытыми шторами было сумрачно. Глеб задержался возле мальчика, с неясной надеждой всматриваясь в его тихое лицо. Предметы прорастали из темных углов, распускались, покачивались на великолепных изогнутых стеблях. Комната начала заполняться смутными детскими сновидениями, но язык их был, увы, недоступен Глебу. Голоса через стену доносились приглушенно: Мишель, посмеиваясь, рассказывал, как, оказывается, и Фомичев Иван Ильич одним махом опрокинул все дурные наветы, опубликовав в журнале опус, из которого стало очевидно, что ничего не только изысканно-остроумного, но даже вообще мало-мальски приличного он сочинить был от природы неспособен: неувязка с анекдотами объяснялась скорее всего тем, что он их просто перевирал по пути в инстанции, ненароком отшлифовывая до изысканного абсурда. Правда, вопиющий облик этого опуса наводил некоторых искателей чересчур глубокого смысла на подозрение, не нарочитая ли тут выходка — вроде нового анекдота. И хотя такая уж изощренность большинству показалась невероятной, осадок двусмысленности исчез не сразу и не вполне...

Глеб вдруг понял, что о масочнике здесь не будет сказано больше ни слова. Какой масочник? — его и не было; и слово-то несуществующее. В самом деле — недоразумение, о котором не положено говорить в кругу взрослых воспитанных людей, случайно мелькнувшая фигурка — временная величина, какой-то абстрактный икс, который вводят в уравнение, делят на него и умножают: чтобы он в конечном счете сам на себя сократился и вы-

яснилось, что игрек действительно равен игреку, зет — зету — и все остались на своих местах...

...Все... — кольнуло вдруг Глеба — так больно, что он едва не вскрикнул. По оконному стеклу спускались капли, как лыжники по склону, плавно виляя на невидимых поворотах, по очереди обгоняя друг друга...

## 6

Он еще попробовал до исхода дня кинуться на новые поиски, но быстро понял, как это безнадежно: для справочного бюро он даже не знал, оказывается, ее фамилии; в милиции же выяснилось, что по указанному адресу никто, кроме двух старух да еще сына Регины Адольфовны, некоего Карла Ивановича, прописан не был. «Неужели без прописки жила? — начал въедливо интересоваться милицейский капитан. — А Карла Ивановича, значит, вы никакого там не видели?» Глеб поспешил ускользнуть от настойчивого служебного любопытства. Наведываться опять на квартиру к старухам было тем более бесполезно; он уже понимал, что не найдет там ничего, кроме бреда и издевательского лая заколдованного пса. В конце концов, всему можно было найти обоснование: внезапно исцелилась мать (да пусть даже вдруг и умерла), Нина тут же вышла за масочника с голосом Глеба и улетела с ним на Камчатку, подальше от розысков и ревнивого преследования... Мысль пробовала еще изворачиваться, но Скворцов уже знал, чего это стоит. Ведь ты хотел сам... только сам расплачиваться... своим поиском... себя не щадя...

И сквозь эту безнадежную, жалкую и горестную толкотню мыслей пробивалась едва различимая, неявная еще, узнанная однажды мелодия. Глеб Скворцов шел по улице, вслушиваясь в нее. Дождь, легкий, как дуновение, расплывал вечерний свет облаков. Улица была жидкая, гибкая, текучая, машины разбрызгивали гладь асфальта, оставляя за собой след, как быстроходные катера, пешеходы ступали, яко посуху, по своим отражениям, такие же переливчатые, как они, среди отражений домов, столбов, деревьев и газетных киосков — все отливало, словно сквозь целлофан, однотонными ртутными расплывами, набухая в то же время весомостью, и воздух был чист, прозрачен и зыбок, как на берегу реки.